

Джеймс Генри

ПИСЬМА АСПЕРНА

(повесть)

I

С самого начала я обо всем рассказал миссис Прест; и, по правде сказать, я бы недалеко ушел без ее дружеского участия, ведь счастливая мысль, подвинувшая дело вперед, принадлежала именно ей. Это она усмотрела кратчайший путь и развязала гордиев узел. Говорят, женщины редко способны возвыситься до вольной и непредвзятой оценки положения вещей, если требуется найти из него выход, но женщинам порой приходят в голову смелые решения, до простоты которых никогда не возвысится мужчина. «А вы постарайтесь попасть к ним в дом в качестве жильца», — своим умом я бы ни за что до этого не додумался. Я ломал голову, прикидывал так и этак, измышляя способ познакомиться с барышнями Бордеро, пока миссис Прест не подала мне эту спасительную идею: стать знакомым легче всего сделавшись домочадцем. Сама она едва ли знала о барышнях Бордеро больше меня; напротив, я привез из Англии некоторые достоверные сведения, для нее явившиеся новостью. В незапамятные времена имя Бордеро связывалось с одним из самых прославленных имен нашего века, а теперь носительницы этого имени живут в Венеции уединенной, замкнутой, почти нищенской жизнью, в полуразрушенном старом дворце — вот все, что было известно моей приятельнице. Миссис Прест поселилась в Венеции лет пятнадцать тому назад и с тех пор совершила там немало добрых дел, но ни разу ее благотворительность не коснулась двух тихих, загадочных и словно бы даже не вполне респектабельных американок считалось, во всяком случае, что за долгие годы на чужбине они утратили свои национальные корни, не говоря уже о том, что самый звук их имен указывал на отдаленное французское происхождение, — к тому же они не просили помощи и не искали внимания. Вскоре после приезда в Венецию миссис Прест нанесла было им визит, но увидеть ей удалось только «меньшую», — так она называла племянницу, хотя впоследствии я мог убедиться, что ростом та куда выше тетки. Она услышала, что мисс Бордеро больна, и заподозрила нужду в доме, а потому немедленно отправилась предложить помощь — для успокоения своей совести, чувствительной к чужим бедам вообще, а к бедам американцев в особенности. «Меньшая» приняла ее в большой, холодной, обветшалой венецианской sala, центральном помещении дома, с выложенным мраморными плитами полом и поперечными балками, тускнеющими под высоким сводом, и даже не предложила сесть. Последнее обстоятельство не предвещало ничего хорошего мне, желавшему не просто сесть, а усесться плотно, и я высказал свои опасения миссис Прест. Она, однако же, глубокомысленно возразила: «Так ведь я пришла облагодетельствовать их, а вы будете просить, чтобы они вас облагодетельствовали, это большая разница. Их гордость вам пойдет на пользу». И она предложила тут же показать мне дом, свезя меня туда в своей гондоле. Я сознался, что уже не раз бродил около этого дома, но приглашение принял, для меня отраднo было даже находиться поблизости. Приехав в Венецию, я назавтра же отправился взглянуть на этот дом, — мне подробно описал все тот самый английский собрат, от которого я узнал о существовании писем, — и, штурмуя его взглядом, стал обдумывать план предстоящей кампании. Насколько мне было известно, Джеффри Асперн никогда не бывал в этом доме,

но, казалось, неслышимый отзвук его речей каким-то образом витает в окружающем воздухе.

Миссис Прест не было дела до писем, но ее занимал мой интерес к ним, как всегда занимали радости и огорчения друзей. И все же, сидя с нею вместе в уютной каютке гондолы и глядя, как скользят мимо прекрасные виды Венеции, оправленные в раму окна, я чувствовал, что кажусь ей немного смешным, и волнение мое при мысли о возможной добыче смахивает в ее глазах на типический случай маниакального помешательства. «Можно подумать, что вы надеетесь найти в этих письмах разгадку тайны бытия», — сказала она, и я лишь возразил, что, если бы мне пришлось выбирать между столь ценным открытием и пачкой листков, исписанных рукой Джеффри Асперна, я без колебаний знал бы, на чем остановить свой выбор. Она было усумнилась вслух, так ли уж велик его гений, но я не стал защищать его. Божество не нуждается в защите, божество само — защита себе. И притом теперь, после долгих лет относительного забвения, Асперн так высоко взошел в небе нашей литературы, что виден всему миру, он — один из тех, кто нам освещает путь. Я только позволил себе заметить, что он никогда не был дамским поэтом, на что она вполне резонно возразила: «А как же мисс Бордеро?» Помню, до чего странно мне было услышать в Англии, что мисс Бордеро еще жива; все равно, как если бы мне сказали, что жива миссис Сиддонс, или королева Каролина, или знаменитая леди Гамильтон — для меня она в той же мере принадлежала к ушедшему поколению. «Сколько же ей должно быть лет — не меньше ста!» воскликнул я тогда, но позднее, сопоставив даты, пришел к выводу, что она вполне могла не переступить еще грань обыкновенного человеческого долголетия. Все же возраст ее был почтенный, а с Джеффри Асперном она встретилась совсем юной. «В этом ее оправдание», — произнесла миссис Прест несколько сентенциозно, но при этом как бы стыдясь своих слов, столь несоответствующих истинному духу Венеции. Будто нуждается в оправданиях женщина, любившая божественного поэта! Того, кто был не только одним из умнейших людей своей эпохи, — а ведь эта эпоха, отроческие годы столетия, славилась блистательными умами, — но и одним из самых жизнерадостных и самых красивых.

Племянница, по словам миссис Прест, была не столь древней, пожалуй, даже следовало предположить, что она лишь внучатая племянница. Возможно, так оно и было; я ведь не имел иных сведений, кроме тех, которые мог почерпнуть из скудного запаса Джона Камнора, английского почитателя моего кумира, а он ни племянницы, ни тетушки в глаза не видывал. Как уже говорилось, Джеффри Асперн заслужил в наши дни всеобщее признание, но никто не пошел в этом признании дальше нас с Камнором. Толпы верующих стекались в храм его славы, мы же смотрели на себя, как на жрецов этого храма. Мы считали, и на мой взгляд справедливо, что сделали больше, чем кто бы то ни было, для возвеличения памяти Асперна, хотя бы одним тем, что нам удалось многое прояснить в его жизни. Это не было для него опасно, так как он мог не опасаться правды, — а чего еще, как не одной лишь правды, искали мы сквозь даль времен? Его ранняя смерть была единственным, что, так сказать, омрачало воспоминания о нем, разве только в бумагах, хранившихся у мисс Бордеро, крылось еще что-то. Ходили слухи, будто около 1825 года он «дурно обошелся с ней», столь же, впрочем, смутные, как и другие слухи, будто она была не единственной, кого он, пользуясь престоном выражением, «околпачил» в свое время. Но нам с Камнором удалось обстоятельно разобраться в каждой из слышанных историй, и всякий раз мы могли, не греша против своей совести, отвести обвинение. Быть может, из нас двоих я был более снисходительным судьей, по крайней мере, мне всегда казалось, что трудно было вести себя достойнее в подобных обстоятельствах. А обстоятельства нередко бывали и сложными и рискованными. Половина его современниц, мягко говоря, кидалась ему на шею, и пока свирепствовало это поветрие, кстати весьма заразительное, неизбежны были некоторые

тяжелые случаи. Я был прав, сказав миссис Прест, что он не дамский поэт. Да, он не таков для его нынешних поклонников, но иное было дело, когда в звуках песни слышался живой голос ее сочинителя. А этот голос, по всем свидетельствам, обладал редким очарованием. «Орфей и менады» — вот мнение, которое сложилось у меня прежде, чем я стал знакомиться с его перепиской. И надо сказать, почти все менады оказались неразумными в своем поведении, а многие просто невыносимыми; не раз мне приходило в голову, что, оказавшись я на его месте — чего, разумеется, и вообразить нельзя, — у меня никогда не нашлось бы столько доброты и понимания, сколько неизменно выказывал он.

Разумеется, более чем странно, — и я не хочу занимать место попытками это объяснить, — что мы вели свои поиски, сосредоточивали свои усилия там, где приходилось иметь дело лишь с тенью и прахом, с отзвуками отзвуков, тогда как единственный живой источник сведений, не иссякший до наших дней, остался нами незамеченным. Мы были убеждены, что никого из современников Асперна уже нет в живых, нам ни разу не довелось заглянуть в глаза, в которые он смотрел когда-то, коснуться старческой руки, словно бы хранившей тепло его пожатия. И глубже всех других была нами погребена бедная мисс Бордеро, а между тем она-то одна и жила еще. С течением времени мы даже перестали удивляться, как это нам не удалось напасть на ее след раньше, находя объяснение в том, что она так старательно затаилась от света. У бедной женщины были в конце концов на то свои причины. Но поражал самый факт, что во второй половине XIX века, в эпоху газет, телеграмм, фотографов и репортеров кому-то вообще оказалось возможным затеряться в безвестности. Она, кстати, не прилагала к этому особых усилий, не укрылась в какой-нибудь захолустной глуши, а смело выбрала город, где все напоказ. Пожалуй, ее отчасти спасало изобилие в этом городе других, куда более заметных достопримечательностей. Да и случай подчас помогал — взять хотя бы то обстоятельство, что в прошлый мой приезд, пять лет назад, миссис Прест ни разу не упомянула при мне ее имени, а ведь я тогда около трех недель прожил в Венеции, можно сказать, под самым боком у нее. Впрочем, моя приятельница не говорила о ней ни с кем и едва ли не позабыла вообще об ее существовании. Но, разумеется, миссис Прест не обладала темпераментом издателя. Часто старуха все время жила за границей, этим тоже не объяснишь, как ей удалось ускользнуть от нашего внимания, наши розыски бесчисленное число раз заставляли нас не только писать, но и лично ездить во Францию, в Германию, в Италию страны, где Асперн провел так много лет своей слишком недолгой жизни, не говорю уже об Англии, пребывание в которой оказалось таким значительным для него. Мы себя утешали мыслью, что в предпринятых нами публикациях — кое-кто, кажется, и сейчас находит, что мы в них переусердствовали, — лишь косвенно, полунанамеком затрагивалось то, что было связано с мисс Бордеро. Странно сказать, но даже располагая мы письменными свидетельствами, о судьбе которых нам не раз доводилось задумываться, это был бы самый нелегкий для биографа материал.

Гондола остановилась, старый дворец был перед нами — одно из тех венецианских строений, за которыми это пышное название сохраняется, даже если они вконец обветшали. «Что за прелесть! Он весь серо-розовый!» воскликнула моя спутница, и, пожалуй, точнее его нельзя было описать. Дом простоял не так уж долго, два-три столетия, не более, и вид у него был не столько запущенный, сколько присмирело-унылый, точно от сознания, что жизнь не удалась. Но широкий фасад с каменной лоджией во всю длину *piano nobile*, или парадного этажа, был не лишен архитектурной затейливости, подчеркнутой обилием пилястров и арок, а предзакатное апрельское солнце румянило облупившуюся от времени штукатурку в простенках. Выходил он на чистый, но угрюмый и довольно пустынный канал, по сторонам которого тянулись узкие тротуары.

«Сама не знаю отчего, — сказала миссис Прест, — но мне этот уголок всегда казался скорей голландским, чем итальянским, пусть здесь и нет островерхих крыш, а похоже больше на Амстердам, чем на Венецию. По тому ли, по другому ли, но уж очень кругом опрятно, глаз не привык, и хоть вдоль берега можно пройти пешком, но пешеходов почти не встретишь. Во всем этом есть какая-то натянутость, если вспомнить, где мы находимся, точно в протестантском воскресеньи. Может быть, люди просто побаиваются барышень Бордеро. Ведь они слывут чуть не колдуньями».

Но помню, что я ей отвечал, — меня беспокоили два новых соображения. Первое заключалось в том, что если старуха живет в таком большом, внушительного вида доме, значит, не так уж она бедна и едва ли соблазнится случаем отдать две-три комнаты внаем. Я высказал это опасение миссис Прест, но та сразу же возразила: «Если б она жила в доме поменьше, о каких бы комнатах для сдачи внаем могла идти речь? Ютись она в тесноте, у вас не нашлось бы предложения для знакомства с ней. К тому же здесь, в Венеции, и особенно в этом quartier perdu¹ большой дом ровно ни о чем не свидетельствует, можно жить в таком доме и терпеть крайнюю нужду. Есть полуразвалившиеся старые palazzi,² которые вы можете снять за пять шиллингов в год, была бы охота. Что же до их обитателей — о нет, но зная Венецию, как я ее успела узнать, вы и представить себе не можете положение этих людей. Они живут ничего не тратя, потому что тратить им нечего». Второе соображение, которое у меня возникло, связано было с высокой голой стеной, огораживавшей небольшой участок около дома. Я назвал ее голой, но она порадовала бы глаз художника пестротой пятен, образованных слезшей побелкой, заделанными трещинами, оголившимся кирпичом, бурым от времени, а над нею торчали верхушки чахлах деревьев и остатки полусгнившего трельяжа. Видимо, при доме был сад, и мне пришло в голову, что это может послужить искомым предложением.

Я смотрел из гондолы на всю картину, залитую золотым светом Венеции, до тех пор, пока миссис Прест не спросила, намерен ли я тотчас начать действовать (и следует ли ей в этом случае меня дожидаться) или же предпочту приехать в другой раз. И тут, признаюсь, я выказал малодушие — не сумел решить сразу. Хотелось верить, что мне удастся стать обитателем дома, и боязно было потерпеть неудачу, ведь тогда, как я объяснил своей спутнице, в моем колчане больше не осталось бы стрел. «А почему, собственно?» — спросила она и, видя мои колебания и нерешительность, добавила, что, мол, не проще ли еще до всяких попыток навязаться в жильцы, — ведь это, даже в случае успеха, может быть чревато для меня множеством неудобств, — не проще ли предложить некоторую сумму наличными. Быть может, я таким образом получу, что мне нужно, не рискуя своим покоем по ночам.

— Дорогая миссис Прест, — воскликнул я, — не посетуйте на меня за горячность, но вы, должно быть, забыли о тех обстоятельствах — а ведь я подробно излагал их вам, — которые заставили меня искать у вас совета. Старуха не желает, чтобы кто-либо даже словом коснулся ее реликвий, для нее это нечто личное, интимное, сокровенное, а до веяний времени ей дела нет, бог с ней совсем! Начать с разговора о деньгах значит сразу же загубить все. Я могу приблизиться к цели, только усыпив ее бдительность, а усыпить ее бдительность возможно лишь с помощью дипломатических уловок. Лицемерие, двойная игра — вот

¹ Глухой квартал (франц.)

² Дворцы (итал.)

единственное, что мне может помочь. Факт прискорбный, но ради Джеффри Асперна я готов на любую подлость. Начну со светской беседы за чашкой чая, а там уже приступлю к главному. — И я пересказал ей все происшедшее после того, как Джон Камнор почтительнейше обратился к старухе с письменной просьбой. Первое его послание осталось вовсе без ответа, когда же он написал вторично, то получил коротенькую записку от племянницы, в которой довольно резко говорилось, что «мисс Бордеро совершенно не понимает, из-за чего ему понадобилось их тревожить. Никаких „автографов“ мистера Асперна у них нет, а если бы и были, они уж наверно не стали бы их никому и ни для чего показывать. Она совершенно не понимает, о чем идет речь, и просит оставить ее в покое». Я, разумеется, не испытывал никакой охоты получить подобный же отпор.

— Хорошо, — помолчав минуту, сказала миссис Прест с явным вызовом в тоне, — а может быть, у нее и в самом деле нет ничего? Раз они настаивают на этом, почему вы так уверены?

— Джон Камнор уверен, и было бы слишком долго объяснять, как сложилась у него эта уверенность, или, скажем, догадка, но настолько твердо укоренившаяся, что ее не поколебать никаким басням старухи, которую, впрочем, нетрудно понять. К тому же он придает большое значение скрытой улике, содержащейся в ответе племянницы.

— Какой скрытой улике?

— Тому, что она назвала его «мистер Асперн».

— Не вижу, что это доказывает.

— Доказывает личное знакомство, а раз было знакомство, наверняка есть и вещественные следы его: письма, сувениры. Не могу передать вам, до чего это словечко «мистер» меня волнует, точно оно — мостик, перекинутый через бездну лет, по которому я могу приблизиться к своему герою, и до чего усиливает мое желание увидеть Джулиану. Ведь не сказали бы вы «мистер Шекспир».

— Не сказала бы, даже будь у меня целый ящик его писем.

— А вот будь это любовные письма и знай вы, что за ними кто-то охотится, может, и сказали бы! — И я добавил, что Джон Камнор, будучи полностью убежден и еще укрепившись в своем убеждении после полученного ответа, не преминул бы сам отправиться в Венецию, да только для того, чтобы войти в доверие к тетке и племяннице, нужно было не бояться, что в нем узнают писавшее к ним лицо, а ни вымышленное имя, ни фальшивое поведение не могли служить порукой, что обман в конце концов не будет разоблачен. Если бы его спросили прямо, не он ли их неудачливый корреспондент, он бы не решился солгать; для меня же, по счастью, подобной неловкости не существовало. Я был чист — мог все отрицать, не прибегая ко лжи.

— Но все равно вам придется взять другое имя, — сказала миссис Прест. Джулиана почти не общается с миром, однако же, по всей вероятности, ей известно, кто проявляет интерес к наследию Асперна. Может быть, у нее даже есть ваши прежние публикации.

— Об этом я подумал, — сказал я и достал из бумажника визитную карточку, на которой было изящно выгравировано достаточно внушительное *nom de guerre*.³

— Что за расточительство, еще один признак вашей безнравственности! Можно было

³ Псевдоним (франц.)

просто написать чернилами или карандашом.

— Так правдоподобнее.

— Я вижу, охота придает вам смелости. Но вот неудобство: из-за этого маскарада вы не сможете получать свою почту.

— Ее будут оставлять для меня в банке, а я каждый день стану за ней наведываться. Кстати — и повод для прогулки.

— А других разве не найдется? — спросила миссис Прест. — Меня-то вы, надеюсь, будете навещать?

— Да вы, наверно, сбежите на жаркие месяцы из Венеции задолго до того, как я хоть чего-нибудь достигну. Я же готов изнывать тут все лето, а если понадобится, и дольше, как вы легко можете догадаться. Что же до Джона Камнора, то он будет бомбардировать меня письмами, адресуя их моей padrona⁴ для передачи мне — под принятым мною именем.

— Но она может узнать его почерк, — сказала моя спутница.

— Надписывая адрес на конвертах, он изменит почерк.

— Вот уж истинно два сапога пара! А вам не приходило в голову, что, даже не отождествляя вас с мистером Камнором, они могут заподозрить, будто вы подосланы им?

— Могут, разумеется, и тут я вижу один только способ отразить опасность.

— Что же это за способ?

Я с минуту помялся.

— Приволокнусь за племянницей.

— О-о! — воскликнула миссис Прест. — Вы на нее сперва посмотрите.

II

«Главное — это сад, главное — это сад», — твердил я себе несколько минут спустя, дожидаясь один наверху, в длинной, пустой и полутемной sala, выложенный плитками пол которой смутно поблескивал там, где сквозь щели в ставнях пробивалось немного света. Внушительное это помещение было, однако, каким-то холодным и неудобным.

Миссис Прест отплыла в своей гондоле, назначив мне randevu через полчаса у ближнего причала; я же дернул ржавую проволоку звонка, и мне открыла совсем юная и недурная собой рыжеволосая, белолицая служаночка в деревянных башмаках и в шали, на манер капюшона накинутой на голову. Она не поленилась сбежать вниз, вместо того чтобы с помощью нехитрого механического приспособления отворить дверь сверху, правда, сперва она, как водится, окликнула меня из окошка верхнего этажа — мера предосторожности, обычно принимаемая в Италии прежде чем впустить человека в дом. Меня всегда раздражал этот пережиток средневековых нравов, хоть при моем влечении к старине, — пусть несколько особого рода, — это, казалось бы, должно мне нравиться, но коль скоро уж я решил добиваться в этом доме расположения любой ценой, я вытащил свою фальшивую

⁴ Хозяйка (итал.)]

визитную карточку и с любезной улыбкой помахал ею над головой, точно это был талисман, обладающий магическим действием. И, видимо, она такое действие оказала, ибо, как уже было сказано, девушка тут же самолично спустилась вниз. Я попросил ее передать карточку хозяйке, предварительно написав на обороте по-итальянски: «Не соблаговолите ли вы уделить несколько минут приезжему, путешественнику-американцу?» Служаночка не выказала враждебности — что уже можно было считать некоторым успехом. Она порозовела, она улыбнулась и поглядела на меня не без страха, но и не без удовольствия. Ясно было, что мой приход явился событием, что гости редкость в этом доме и что она охотно предпочла бы место повеселее. Когда она хлопнула за мной тяжелую дверь, я почувствовал себя как бы ступившим одной ногой в крепость и тут же пообещал себе, что сумею там удержаться. Девушка простучала башмаками по каменному сырому полу к высокой лестнице — на вид еще более каменной, — и я последовал за ней, не дожидаясь приглашения. Она, вероятно, думала что я подожду внизу, но это не входило в мои расчеты. Мы поднялись в sala, она не останавливаясь пробежала в дальний конец и скрылась в каких-то неприступных глубинах дома, а я остался у входа, оглядываясь кругом с бьющимся сердцем, как будто попал в приемную дантиста. Сумрачная величественность sala создавалась главным образом ее благородными пропорциями и великолепными резными дверьми, которые чередовались между собой через равные промежутки и вели, должно быть, во внутренние комнаты. Двери были увенчаны выцветшими от времени орнаментальными щитами, а в простенках висели темные картины — прескверные, насколько я мог заметить, в истресканных потускневших рамах, представлявших все же большую ценность, чем сами холсты. Вдоль стен жалось несколько стульев с соломенными сиденьями, но кроме них не было ничего, что скрадывало бы пустоту обширного помещения. Судя по всему, оно использовалось лишь как проходной коридор, да и то не часто. Добавлю еще, что к тому времени, как дальняя дверь, за которой исчезла служанка, распахнулась снова, мои глаза успели привыкнуть к полутьме.

Мой мысленный возглас, приведенный выше, не следовало понимать в том смысле, что я рвался собственноручно возделывать огороженный клочок земли около дома, хотя женщина, шедшая ко мне по мерцающим плиткам пола, легко могла именно так истолковать ту горячность, с которой я бросился к ней навстречу, восклицая — предусмотрительно по-итальянски: «Сад, сад — умоляю, скажите мне, что это ваш сад!»

Она остановилась в недоумении, потом холодно и печально ответила по-английски:

— Здесь нет ничего моего.

— Так вы англичанка, какая удача! — восторженно вскричал я. — Но ведь сад без сомнения принадлежит этому дому?

— Да, но дом не принадлежит мне.

Она была высокого роста, худощавая, бледная, в неопределенного цвета одеянии, напоминавшем домашний капот. Говорила она тихо и безо всякой манерности. Если это была племянница, то она повела себя со мной точно так же, как некогда с миссис Прест — не предложила мне сесть. Так мы с ней и стояли друг против друга посередине торжественно пустынной sala.

— Тогда не будете ли вы столь любезны объяснить, к кому я должен обратиться. Моя назойливость вам, верно, кажется неприличной, но мне, видите ли, необходим сад, положительно необходим, клянусь честью.

Ее лицо не было ни молодым, ни красивым, но оно было открытым и ясным. Глаза были большие, но не блестящие, волосы — густые, но не убранные по-модному, руки тонкие

и изящной формы, но, возможно, не вполне чистые. Вдруг она судорожно сжала эти руки и воскликнула в испуге и замешательстве:

— Ах, не отнимайте его у нас, мы сами так его любим!

— Стало быть, вы бываете там?

— О, да! Если бы не этот сад... — И она улыбнулась бесцветной, неопределенной улыбкой.

— Да, ведь это роскошь, не правда ли? Оттого именно, предполагая провести в Венеции месяц или два, а может быть, и все лето, в литературных занятиях, требующих тишины и покоя, я и возмечтал о саде, где можно было бы читать и писать, в то же время большую часть дня проводя на воздухе. Вы меня поймете, я уверен. — Тут я улыбнулся со всей светскостью, на которую мог отважиться. — А теперь нельзя ли мне взглянуть на этот сад?

— Я не знаю, я не понимаю, — забормотала бедная женщина, видя, что деваться ей некуда, и безуспешно пытаясь свое робкое недоумение противопоставить моему чудачеству.

— Разумеется, лишь отсюда, из этого великолепного окна, — я только с вашего позволения открою ставни. — И я поспешно зашагал в глубь залы, однако же на полдороге остановился, как бы ожидая, что моя собеседница последует за мной. Вынужденный действовать довольно напористо, я в то же время заботился о том, чтобы произвести впечатление человека изысканно учтивого. — Я обошел, кажется, все дома, где отдаются внаем комнаты, но мне так и не удалось найти ни одного с садом. Оно и не удивительно — в таком городе, как Венеция, сады редки. А я, хоть это и странно для мужчины, не могу жить без цветов.

— Что уж тут у нас за цветы. — Она сделала несколько шагов, словно я тянул ее за невидимую веревочку, и ей, при всем ее недоверии ко мне, ничего не оставалось, как подчиняться. Я двинулся дальше, а она, идя следом, продолжала: — Их немного, и притом самые простенькие. Разводить цветы слишком дорого, нужен особый человек.

— А вы возьмите меня, — предложил я. — Я стану работать бесплатно, а еще лучше, найму садовника за свой счет. И у вас будет самый прекрасный цветник во всей Венеции.

Я услышал сдавленный взглас — то ли протеста, то ли невольного восхищения этой смело набросанной мною перспективой. Потом она выговорила с усилием:

— Но мы вас не знаем — мы вас совсем не знаем.

— Вы знаете меня столько же, сколько я знаю вас, даже больше — вам, по крайней мере, известно мое имя. А если вы англичанка, то я почти ваш соотечественник.

— Мы не англичанки, — сказала она, безропотно глядя, как я отпираю и отвожу в сторону ставни на одной половине широкого и высокого окна.

— Вы так прекрасно говорите по-английски, кто же вы, осмелюсь спросить? — Сверху, из окна, сад и в самом деле выглядел неказисто, однако я сразу увидел, что его нетрудно будет преобразить. Моя собеседница, вконец смущенная и растерявшаяся, ничего не ответила на мой вопрос, и тогда я воскликнул: — Уж не хотите ли вы сказать, что вы тоже американки?

— Не знаю. Были американки.

— То есть как это «были»? А теперь — нет?

— Так много лет прошло. Теперь мы, кажется, уже никто.

— Вы много лет живете здесь? Что ж, это меня не удивляет — у вас такой прекрасный старинный дом. Вероятно, вы все любите отдыхать в саду, продолжал я, — но, уверяю вас, я вам нисколько не помешаю. Облюбую себе какой-нибудь дальний уголок, и вы меня ни видеть, ни слышать не будете.

— Мы все любим отдыхать в саду? — рассеянно переспросила она, не подходя ближе и глядя на носки моих ботинок. Кажется, она думала, что с меня станет схватить ее и выбросить в окно.

— Ну да, вся ваша семья — все, кто живет здесь.

— Мы здесь живем вдвоем, кроме меня еще одна моя родственница. Она очень стара. Она никогда не спускается вниз.

Волнение вновь охватило меня, когда я услышал эти точные приметы Джулианы, однако я сумел совладать с ним.

— Вдвоем в таком огромном доме! — Я сделал вид, будто не только удивлен, но чуть ли не возмущен этим. — Сударыня, но, стало быть, у вас тут избыток свободного места?

— Свободного места? — повторила она, словно бы тешась непривычным для нее звучанием собственного голоса.

— Еще бы, ведь нельзя же предположить, что две тихие, скромные женщины (а вы-то, во всяком случае, таковы, я это вижу) занимают полсотни комнат! Ив порыве радостной надежды я выложил то, ради чего пришел: — Не согласились бы вы — за хорошую плату, разумеется, — сдать две-три комнаты мне? Для меня это было бы просто спасение.

Итак, прозвучала первая нота мелодии, посвященной моей заветной цели. Не стану приводить все фиоритуры, которыми я ее украсил. В конце концов мне удалось внушить своей слушательнице, что перед нею человек нимало не злонамеренный, хотя и со странностями, в последнем я даже не пытался ее разуверить. Я рассказал опять про свои ученые занятия, требующие тишины и уединения, про свою любовь к цветам, про то, как я понапрасну обшарил всю Венецию в поисках квартиры с садом, и про все старания, которые я намерен приложить, дабы в самом непродолжительном времени этот чудесный старый дом просто утопал в цветах. Должно быть, именно цветы помогли мне выиграть дело, ибо, как выяснилось впоследствии, мисс Тина — таково было несколько неожиданное имя сверхчувствительной старой девы — питала к ним неутолимое пристрастие. Говоря о «выигранном деле», я подразумеваю, что на прощанье она пообещала передать мою просьбу тетушке. Я полюбопытствовал, а кто такая эта тетушка, и в ответ услышал: «Как кто — мисс Бордеро!» — произнесенное с некоторым даже удивлением, словно мне и самому следовало знать. Была в мисс Тине этакая непоследовательность, придававшая — в чем мне еще предстояло убедиться — своеобразный интерес ее особе. Обе дамы усердно сторонились окружающего мира, его дел и его пересудов, но в то же время были далеки от мысли, что этот мир попросту не знает их. По крайней мере, у мисс Тины еще не вполне иссякла потребность в общении с живыми людьми, а такое общение, пусть самое малое, было бы неминуемо, если бы я поселился в доме.

— Мы никогда ничего такого не делали, у нас никогда не бывало жильцов и вообще посторонних в доме. — За этим признанием последовало другое: — Мы очень бедны; нам очень трудно — почти не на что жить. В комнатах — тех, где вы могли бы поместиться, — почти ничего нет, никакой мебели. Не знаю, на чем бы вы стали спать, что есть.

— С вашего позволения я привез бы кровать и несколько столов и стульев. C'est la moindre des choses⁵ — дело двух-трех часов, и только. Я знаю место, где по сходной цене можно получить напрокат все, что мне на этот короткий срок потребуется, без чего нельзя обойтись; мой гондольер доставит это сюда на лодке. В таком большом доме, как ваш, наверняка найдется вторая кухня, где мой слуга — он у меня мастер на все руки (сей персонаж был только что создан моим воображением), мог бы поджарить кусок мяса. Я прост в своих привычках и вкусах, кроме цветов мне мало что нужно! — В заключение я рискнул заметить, что если они так бедны, тем более им бы следовало отдавать внаем часть своего дома. Они чересчур непрактичны — видано ли, чтобы такое имущество пропадало без всякой пользы.

Мне сразу стало ясно, что она, моя голубушка, не привыкла к тому, чтобы с ней разговаривали подобным тоном — шутливо-настойчивым и в то же время не чуждым, пожалуй, даже исполненным участия. Она, конечно, вправе была срезать меня за это непрошеное участие, но, слава богу, не догадалась это сделать. Расстались мы на том, что она изложит мою просьбу тетке и что я на следующий день явлюсь за ответом.

— А тетка откажет, она решит, что вся история выглядит весьма *louche*,⁶ — объявила мне миссис Прест, когда мы немного спустя уже плыли снова в ее гондоле. Сама же она подала мне эту мысль, а теперь — вот и полагайся на женщин! — явно считала ее неосуществимой. Такой пессимизм меня раззадорил, и я прикинулся весьма обнадеженным своими переговорами — даже прихвастнул, что почти уверен в успехе. «Ах, так у вас вот что на уме! — разразилась в ответ миссис Прест. — Дескать, за пять минут до того обворожил бедную женщину, что она теперь ждет не дождетса завтрашнего дня и сумеет уговорить старуху. Теперь, надо думать, если вам в самом деле удастся водвориться в доме, вы сочтете это своей личной победой».

Я и счел это в конечном счете победой, — но победой литератора, а не мужчины, вовсе не избалованного подобными завоеваниями. Когда я наутро явился в старый дворец, рыжая служаночка провела меня через верхнюю *sala*, которая показалась мне столь же бесконечно длинной, но на этот раз более светлой, в чем я усмотрел доброе предзнаменование, — и распахнула передо мной ту дверь в глубине, откуда накануне вышла особа, меня принимавшая. Я очутился в просторной, но довольно обшарпанной гостиной, со следами отличной росписи на потолке и с высокими окнами, у одного из которых одиноко сидела в кресле странная фигура. Вспоминаю словно сейчас, — и почти с тем же замиранием в груди, — как, переходя от одного оттенка чувств к другому, я исподволь проникался сознанием, что вижу перед собой ту самую Джулиану, которую Асперн воспел в некоторых из наиболее мастерских и наиболее прославленных своих созданий. Впоследствии я по привычке к ней, хоть полностью мне это так и не удалось, но тогда, в первый раз, сердце у меня колотилось так сильно, точно на моих глазах и ради меня совершилось чудо воскресения из мертвых. Мне казалось, будто в образе старой женщины, сидящей у окна, заключен и выражен отчасти и его живой образ, и я в этот первый миг встречи с нею ощутил себя ближе к нему, чем когда-либо до того или после. Да, я отчетливо помню всю смену волновавших меня чувств, вплоть до легкой и неожиданной тревоги, которую я испытал, обнаружив, что в комнате нет племянницы. С ней я успел освоиться за короткий вчерашний

⁵ Это совершенные пустяки (франц.)

⁶ Сомнительно (франц.)

разговор, но тетка, эта тень, явившаяся из прошлого, так устрашала меня, что, сколь ни желанным было для меня это свидание, я предпочел бы не оказаться с ней наедине. Что-то в ней было странное, что-то словно буквально не от мира сего. Потом меня точно кольнула мысль, что в сущности я вовсе ее не «вижу перед собой», так как над глазами у нее торчит безобразный зеленый козырек, не хуже маски скрывающий почти все ее лицо. Мне даже пришло было в голову, уж не нарочно ли она его надела, чтобы беспрепятственно разглядывать меня, сама оставаясь невидимой. А может быть, за этой маской прячется жуткий лик смерти? Божественная Джулиана в виде оскаленного голого черепа — на миг это видение возникло передо мной, но тут же растаяло. Потом я подумал о том, что ведь она и в самом деле невероятно стара — так стара, что может умереть в любую минуту, не дав мне времени добиться намеченной цели. Но тут же явилось новое предположение более утешительного свойства: она умрет через неделю, она умрет завтра — и тогда я беспрепятственно ворвусь к ней и переверну все ее пожитки.

Меж тем она не шевелилась в своем кресле и не произносила ни слова. Крошечная, вся словно ссохшаяся, она сидела, слегка пригнувшись вперед и сложив руки на коленях. Платье на ней было черное, кусок старинного черного кружева прикрывал голову так, что волос не было видно.

От волнения я не мог вымолвить ни слова, тогда она заговорила первая, и я услышал фразу, которую меньше всего можно было ожидать.

Ш

— Мы живем очень далеко от центра, но этот маленький канал очень *comme il faut*.⁷

— Очаровательнейший венецианский уголок, ничего прелестнее и вообразить нельзя, — торопливо подхватил я. Старуха говорила тихим слабеньким голосом, в котором была, однако, приятная, выработанная воспитанием мелодичность, и странно было думать, что звукам этого самого голоса внимал когда-то Джеффри Асперн.

— Садитесь вон там, пожалуйста. Слух у меня отличный, — спокойно сказала она, словно подразумевая, что мне вовсе нет надобности кричать, как я это, вероятно, сделал, хотя кресло, указанное ею, находилось на некотором расстоянии. Я сел и пустился в объяснения: я, дескать, сам понимаю, сколь неуместно было вторгнуться в дом без приглашения и даже не будучи представленным должным образом хозяйке этого дома, и мне остается лишь уповать на ее снисходительность. Но, может быть, другая дама, та, с которой я имел удовольствие беседовать накануне, передала ей сказанное мною о саде? Право же, только это побудило меня решиться на столь бесцеремонный поступок. Я с первого взгляда влюбился в ее владения; сама она, верно, слишком привыкла к тому, что ее здесь окружает, и не догадывается, сколь сильное впечатление все это может произвести на человека со стороны, — а я вот даже подумал, что ради подобного чуда стоит пойти на риск. Смею ли я усмотреть в ее любезном согласии выслушать меня доказательство, что я не обманулся в своих надеждах? Ничто не могло бы меня обрадовать больше. Честью заверяю, я — человек вполне добропорядочный и безобидный, и, допустив меня в качестве, так сказать, сообитателя этого дворца, дамы почти не заметят моего присутствия. Я охотно подчинюсь

⁷ Приличен (франц.)

любым правилам, любым ограничениям. К тому же я готов представить рекомендации или поручительства лиц, пользующихся достаточным уважением в Венеции, в Англии или в Америке.

За все время моей речи она не шелохнулась, но я ощущал на себе ее пристальный, испытующий взгляд, хоть мне видна была только нижняя половина сморщенного, лишенного красок лица. Старость отточила черты этого лица, но старость старостью, а было в них природное изящество, в свое время, должно быть, неотразимое. Когда-то она была очень светлой блондинкой с удивительно нежным румянцем на щеках. Я умолк; она помедлила еще несколько секунд, потом заговорила:

— Если вы такой любитель садов, почему бы вам не поселиться на terra firma⁸ — там их сколько угодно, получше этого.

— Но там нет такого сочетания, — возразил я, улыбаясь, и вдохновенно пояснил: — Сад посреди моря — вот что меня пленяет.

— Какое же тут море, у нас даже из окон воды не видно.

Я насторожился: уж не хочет ли она изблечить меня в обмане?

— Не видно воды? Помилуйте, сударыня, да я к самому вашему крыльцу подъехал на лодке.

Но она, очевидно, уже потеряла нить, и в ответ на мои слова сказала задумчиво: — Так ведь надо иметь лодку. У меня ее нет, и мне уже много лет не приходилось ездить в гондоле. — Она произнесла это так, словно речь шла о каком-то диковинном и редком занятии, известном ей больше понаслышке.

— О, я счастлив буду предоставить свою в ваше распоряжение! — воскликнул я, но, еще не окончив фразу, почувствовал что в подобной поспешности есть нечто вульгарное, а кроме того, делу может повредить, если старухе покажется что я чересчур уж ретив, точно человек, которым движет некий тайный умысел. Но она сидела все с тем же непроницаемым видом, и у меня шевельнулась неприятная мысль, что она гораздо лучше успела рассмотреть меня, чем я ее. Она не стала благодарить меня за мою несколько расточительную любезность, упомянула только, что дама, принимавшая меня накануне, — ее племянница, и скоро сюда придет. Она нарочно велела ей не торопиться, так как желала сперва поговорить со мной наедине — у нее на то есть свои причины. Сказав все это, старуха снова замолчала, а я терялся в догадках — что это за таинственные причины, и какие сюрпризы меня еще ожидают, и могу ли я отважиться на какой-либо умеренный комплимент по адресу моей вчерашней собеседницы. В конце концов я рискнул заметить, что буду очень рад возобновить знакомство с последней, она вчера так терпеливо меня выслушала, хоть я наверняка должен был показаться ей по меньшей мере чудачком. На это последнее замечание последовал со стороны мисс Бордеро очередной неожиданный ответ:

— У нее прекрасные манеры, я сама занималась ее воспитанием. — Я хотел было вставить, что этим, должно быть, объясняется грациозная непринужденность, свойственная обхождению племянницы, но вовремя удержался старуха уже продолжала: — Не знаю, кто вы такой — да и не хочу знать, это теперь так мало значит. — Все это нетрудно было истолковать как знак, что аудиенция окончена и сейчас мне будет сказано, что я могу отправляться восвояси, поскольку она уже достаточно насладились лицемерием эдакого

⁸ Материк (итал.)

образца беззастенчивости. Тем удивительнее прозвучали для меня следующие слова, произнесенные дребезжащим старушечьим голоском: — Можете получить сколько угодно комнат — если заплатите хорошие деньги.

Я на миг замялся, прикидывая сколько именно она может иметь в виду. Моей первой мыслью было, что речь и в самом деле пойдет об очень крупной сумме, но тут же я рассудил, что крупная сумма в ее представлении — не совсем то же, что в моем. Впрочем, заминка, вызванная этими соображениями, была так коротка, что она едва ли успела ее заметить, и он почти тотчас же продолжил:

— Заплачу с величайшим удовольствием и притом вперед, благоволите только назвать цифру.

— Извольте, тысяча франков в месяц, — проворно откликнулась она из-под зеленого козырька, по-прежнему скрывавшего выражение ее лица.

Цифра была, что называется, ошеломительная; умозаключения мои не оправдались. Подобных цен попросту не существовало в Венеции; за тысячу франков я бы мог снять целый дворец в отдаленном районе, и не на месяц, а на год. Но я готов был на любые траты в пределах своих возможностей, и мое решение созрело немедленно. Уплачу ей, не поморщившись, сколько она спрашивает, но уж впоследствии постараюсь сквитаться, заполучив вожделенную добычу даром. Впрочем, запроси она впятеро больше, я бы не стал спорить, слишком уж это было непереносимо — торговаться с Джулианой Джеффри Асперна. Довольно и того, что вообще пришлось вести с нею речь о деньгах. Я рассыпался в уверениях, что ее желания полностью совпадают с моими и на следующий же день я буду иметь счастье вручить ей плату за три месяца вперед. Она весьма благосклонно приняла эту весть, не выказывая ни малейшего намерения хотя бы приличия ради предложить мне сперва посмотреть комнаты. Ей это попросту в голову не пришло, а меня только радовала подобная беззаботность. Не успели мы заключить это небольшое соглашение, как дверь отворилась, и на пороге появилась младшая из двух дам. Завидя племянницу, мисс Бордеро воскликнула почти ликующе:

— Он дает три тысячи — он их принесет завтра же!

Мисс Тина застыла на месте, переводя свой кроткий взгляд с тетки на меня и с меня на тетку; потом она выговорила чуть слышно:

— Три тысячи франков?

— Вы имели в виду франки или доллары? — спросила меня старуха.

— Я так понял, что речь шла о франках, — мужественно улыбнулся я.

— Это очень хорошо, — сказала мисс Тина, словно сама чувствовала, насколько бестактным мог показаться заданный ею вопрос.

— Тебе-то что? Ты же все равно ничего не понимаешь, — отозвалась мисс Бордеро, не резко, но с какой-то странной снисходительной холодностью.

— Да, да, в денежных делах — конечно! — поспешила согласиться мисс Тина.

— Но, без сомнения, есть предметы, в которых вы разбираетесь очень тонко, — счел я уместным заметить. Для меня было что-то болезненно неприятное в том, какой оборот приняла наша беседа, во всех этих рассуждениях о долларах и франках.

— В детстве ее учили всему, что положено знать благовоспитанной девице. Я сама следила за ее воспитанием, — сказала мисс Бордеро. И тут же добавила: — Но с тех пор у нее знаний не прибавилось.

— Я все время находилась при вас, — ответила мисс Тина очень кротко и, уж разумеется, без тени сарказма.

— Да, и если б не это... — подхватила тетка куда более язвительно. Она явно намекала, что, если бы не это, племянница и вообще бы осталась невежда невеждой; но, по-видимому, мисс Тина не была уколота намеком, хоть и покраснела, слыша, как постороннего человека посвящают в подробности ее жизни. Мисс Бордеро меж тем вернулась к главной теме нашего разговора.

— В котором часу вы завтра явитесь с деньгами?

— Чем раньше, тем лучше. Если вам удобно, я буду здесь ровно в двенадцать.

— Я всегда дома, но у меня есть свои часы, — сказала старуха, как бы подчеркивая, что она вовсе не в любое время доступна.

— Вы подразумеваете часы, отведенные для визитеров?

— Визитеров у меня не бывает. Но если вы принесете деньги к двенадцати, я вас приму.

— Чудесно, постараюсь быть точным, — сказал я и, вставая, добавил: Позвольте скрепить наш уговор рукопожатием. — Мне нужна была хотя бы эта маленькая формальность, ибо я догадывался, что других не будет. К тому же пусть нынешнюю мисс Бордеро никак нельзя было назвать привлекательной, пусть даже в ее усохшем от старости существе было нечто отпугивающее, но я испытывал неодолимое желание хоть миг единый подержать в своих руках руку, которую когда-то с нежностью пожимал Джеффри Асперн.

Она не сразу ответила; ясно было, что мое предложение не встретило сочувствия. Но она и не отшатнулась, к чему я уже почти был готов, только сказала холодно:

— В мое время это не было принято.

Несколько задетый таким отпором, я, однако, не подал виду и весело обратился к мисс Тине:

— Но вы, надеюсь, не откажетесь?

Она тотчас же протянула мне руку, торопливо шепнув:

— Да, да, в знак того, что все улажено!

— Вы заплатите золотом? — спросила мисс Бордеро. Я внимательно поглядел на нее.

— А вы не боитесь, между прочим, держать в доме такие большие деньги?

Меня не столько раздражала старухина жадность, сколько удивляло несоответствие между огромностью суммы, о которой шла речь, и столь ненадежным способом ее хранения.

— Кого же мне бояться, если я даже вас не боюсь? — хмуро отозвалась она.

Я засмеялся.

— Что ж, в сущности, теперь вы под моей охраной, так что, если угодно, могу вручить вам условленную сумму золотом.

— Благодарю, — с достоинством отвечала старуха и легким кивком дала понять, что

аудиенция окончена. Я откланялся и вышел, думая о том, что не так-то легко будет провести ее. Уже в sala я заметил мисс Тину, вышедшую вслед за мной, и решил, что она, верно, хочет исправить небрежность тетки, даже не предложившей мне осмотреть помещение. Но она молчала, только смотрела на меня, улыбаясь едва заметно, однако ж без грусти, и в выражении ее лица было что-то отрочески бесхитрое и наивное, вступавшее в почти забавное противоречие с поблекшими чертами. Она не была дряхлой, как ее тетка, но показалась мне вдруг куда более беспомощной, потому что в ней чувствовалась внутренняя хрупкость, не свойственная мисс Бордеро. Я ждал, когда она спросит, не желаю ли я посмотреть комнаты, но не торопил событий; ведь в мои планы теперь входило как можно больше времени проводить в ее обществе. Прошла целая минута, прежде чем я решил наконец начать разговор.

— Я и не надеялся на такую удачу. Очень любезно было со стороны вашей тетушки принять меня. Должно быть, это вы замолвили за меня словечко.

— Это она ради денег, — сказала мисс Тина.

— Вы с ней говорили о деньгах?

— Я сказала, что вы, наверно, хорошо заплатите.

— А как вы могли это знать?

— Я сказала, что вы богатый человек.

— С чего вы это взяли?

— Сама не знаю, должно быть, мне так показалось по вашему тону.

— Вот те на! Придется мне изменить тон, — воскликнул я. — Ибо, к сожалению, вы ошиблись.

— Сколько я знаю, — сказала мисс Тина, — таково уж обыкновение всех *forestieri*⁹ в Венеции — платить большие деньги за то, чему на самом деле не бог весть какая цена. — Она словно бы желала меня утешить этим замечанием, дать мне понять, что я хотя бы не одинок в своей безрассудной расточительности. Мы шли по sala бок о бок, и я, вновь отмечая про себя величественные размеры этого помещения, вслух высказал догадку, что она едва ли составит часть моих будущих апартаментов, но, может быть, одна из этих дверей ведет туда? — Нет, вы можете сразу подняться в верхний этаж, — ответила мисс Тина, словно бы в уверенности, что я и сам должен знать свое место.

— Стало быть, именно в верхнем этаже находятся комнаты, предназначенные мне вашей тетушкой?

— Тетушка считает, что чем обособленнее вы будете жить, тем лучше.

— Она, несомненно, права. — И я почтительно выслушал последовавшие объяснения: наверху, мол, ничто не помешает мне обставить все по своему вкусу; туда ведет другая лестница, но тоже отсюда, из бельэтажа, и для того чтобы спуститься в сад или же подняться к себе, я должен буду всякий раз проходить через sala. Последнее обстоятельство давало мне существенное преимущество; я уже предвидел, что именно на нем будет основан весь механизм моих сношений с обеими дамами. Я спросил, а как мне сейчас найти дорогу в мое будущее жилье, и тем поверг мисс Тину в очередной приступ замешательства, что с ней,

⁹ Иностранцев (итал.)

видимо, часто случалось при общении с людьми.

— Не знаю, право, найдете ли вы. Пожалуй... пожалуй, придется мне проводить вас. — Ей это явно раньше не приходило в голову.

Мы поднялись в верхний этаж и прошли через длинный ряд пустых комнат. Самые лучшие выходили окнами в сад; из некоторых других за черепичными крышами противоположных домов можно было увидеть голубую лагуну. Везде густым слоем лежала пыль, кое-что было даже попорчено вследствие долгого небрежения, но я прикинул, что, потративши несколько сот франков, можно три или четыре комнаты сделать пригодными для жилья. Затяга моя оборачивалась довольно дорого; но теперь, когда осталось только водвориться в доме, мне уже не хотелось тревожиться по этому поводу. Я стал было перечислять своей спутнице, какие усовершенствования я намерен произвести в первую очередь, но она возразила, несколько даже живей обычного, что я волен делать все, что мне угодно. Казалось, она желала уведомить меня, что обе мисс Бордеро ни в малой мере не склонны интересоваться моими действиями. Я сразу же догадался, что такой тон она взяла, следуя указаниям тетушки (замечу, кстати, что впоследствии я научился безошибочно, как мне казалось, распознавать, когда она говорит свои слова, а когда — подсказанные старухой). Она словно бы попросту не замечала царившего вокруг запустения и ничего не пыталась объяснить или оправдать.

Должно быть, сказал я себе, сколь ни прискорбна такая мысль, Джулиана и ее племянница попросту неряшливы, как итальянские простолоюдинки; впрочем, позднее мне пришло в голову, что роль критика едва ли пристала жильцу, чуть ли не силком навязавшемуся хозяевам. Мы смотрели то в одно окно, то в другое, ибо в комнатах смотреть было решительно не на что, а уходить мне не хотелось. Я пробовал спрашивать мисс Тину о тех или иных зданиях, видневшихся в перспективе, но ни разу не получил ответа. Ясно было, что вид из этих окон совершенно незнаком ей, словно она уже много лет сюда не поднималась; и она даже не делала попыток скрыть эти, чересчур поглощенная, как я это вскоре понял, чем-то другим.

Вдруг она сказала без всякой связи с предыдущим:

— Не знаю, может быть, вам это безразлично, но деньги для меня.

— Деньги?..

— Да, те, что вы будете платить.

— Бог мой, эдак мне захочется продлить свое пребывание до года или даже двух!

Говоря это, я мило улыбался, но мне уже начало действовать на нервы, что у этих женщин, так неразрывно связанных с Асперном, только и разговору, что о расчетах и платежах.

— Что ж, тем лучше для меня, — почти весело откликнулась она.

— Вы мне не оставляете выбора!

Мисс Тина недоуменно глянула на меня, но тут же продолжала:

— Она хочет, чтобы мне больше досталось. Она думает, что скоро умрет.

— О, не дай бог! — воскликнул я с искренним испугом. Я вполне отдавал себе отчет в том, что Джулиана, почувствовав приближение конца, может уничтожить письма Асперна, но до тех пор наверняка не выпустит их из рук; должно быть, она всякий вечер перед

отходом ко сну перечитывает их или хотя бы прижимает к своим увядшим губам. Дорого бы я дал, чтобы хоть на миг стать свидетелем этого обряда. Я осведомился у мисс Тины, страдает, ли ее почтенная тетушка каким-нибудь злостным недугом; но в ответ услышал: нет, она просто очень устала, ведь она прожила такую необыкновенно долгую жизнь. По крайней мере, сама она говорит, что с нее довольно и она хочет умереть. К тому же все ее друзья давным-давно лежат в могиле; уж тут бы одно из двух: или им следовало остаться здесь, или ей уйти вслед за ними. И еще одно часто повторяет ей тетушка: чтобы жить, нужно терпение, а терпения у нее больше нет.

— Но ведь так же не бывает, чтобы человек умирал, когда ему захочется, правда? — сказала мисс Тина. И тут я рискнул заметить: если на те средства, что у них есть, они сейчас существуют вдвоем, то ведь останься она одна, этого и подавно хватит. Столь сложное соображение заставило мисс Тину призадуматься, но минуту спустя все же последовал ответ:

— Видите ли, сейчас она обо мне заботится. И она думает, если ее не будет, у меня ума не хватит справляться самой.

— Скорей можно бы предположить, что вы заботитесь о ней. Она, видно, очень гордый человек.

— Неужели вы успели это заметить? — воскликнула мисс Тина с оттенком радостного удивления.

— Я порядочно времени провел с нею наедине и признаюсь, она поразила меня — поразила и возбудила мой живейший интерес. А ее гордость заметить нетрудно. Едва ли мне доведется часто беседовать с нею, когда я буду жить в доме.

— Да, вы, пожалуй, правы, — утвердительно кивнула моя собеседница...

— А вам не кажется ли, что она отнеслась ко мне с некоторым подозрением?

В ясном, незамутненном взгляде мисс Тины я не увидел ничего, подтверждавшего бы, что я попал в точку.

— Вряд ли, иначе она так легко не допустила бы вас в дом.

— Это называется легко? Она себя надежно застраховала, во всяком случае, — сказал я. — Где, по-вашему, ее уязвимые места?

— Я бы вам не сказала, даже если бы знала. — И, не дав мне времени возразить, мисс Тина с грустной улыбкой добавила: — А вы думаете, у нее есть уязвимые места?

— Я недаром задал этот вопрос. Скажите мне, и я буду обходить их самым тщательным образом.

В ответ она посмотрела на меня с тем робким, но откровенным и даже приятным любопытством, которое я в ней подметил при первой нашей встрече, потом промолвила:

— А тут и говорить нечего. Мы существуем так тихо, так незаметно. Не отличишь один день от другого. У нас нет никакой жизни.

— Если б я мог надеяться, что внесу с собой хоть немного.

— О, нам и так хорошо, — сказала она. — Мы знаем, чего хотим.

Мне не терпелось порасспросить ее о многом: как все же им удастся сводить концы с концами, бывает ли кто-нибудь в доме, есть ли у них родня в Америке или еще где-нибудь. Но я счел, что сейчас еще не время, лучше отложить расспросы до другого случая. И я

ограничился тем, что спросил:

— Хоть вы-то не будете гордой? Не станете от меня прятаться?

— Мое место при тетушке, — сказала она, отведя глаза. И тотчас же, без всяких прощальных церемоний, повернулась и исчезла, предоставив мне самому выбиратья как сумею. Я еще побродил по залитой теперь солнцем пустыне старого дома, желая разобраться в создавшемся положении. Даже служаночка в деревянных башмаках не явилась меня проводить, и я в конце концов рассудил, что это признак доверия.

IV

Возможно, так оно и было, но тем не менее прошло полтора месяца, настал июнь, и миссис Прест уже готовилась к сезонному отлету, а мои дела нисколько не продвинулись вперед. Придя к своей приятельнице накануне срока, назначенного для ее отъезда, я должен был признаться, что похвастать мне нечем. Мой первый шаг был неожиданно стремительным и успешным, но ничто пока не предвещало второго. Вечерние чаепития в обществе хозяек дома, — картина, которую мы себе рисовали когда-то, — казались неизмеримо далеким миражем. Миссис Прест меня обвинила в недостатке смелости, но я ответил, что без удобного случая и смелость не проявишь; можно расширить брешь, если она есть, но нельзя ломиться в глухую стену. На это она возразила, что мне уже удалось пробить брешь, достаточно широкую для пропуска целой армии, и что время, которое я растрчиваю попусту, хныча у нее в гостиной, лучше было бы с пользой употребить на театре военных действий. Я, и правда, довольно часто ее посещал и откровенно выкладывал все свои огорчения, думая, что это хоть сколько-нибудь меня утешит. Но в конце концов я нашел, что не такое уж утешение, когда тебя постоянно высмеивают за нерешительность, тем более что на самом деле я жил в постоянной готовности к действию, и я даже почти обрадовался, когда моя насмешливая приятельница закрыла свой дом на летний сезон. Она ожидала, что мои взаимоотношения с барышнями Бордеро составят для нее занимательный спектакль, и была разочарована тем, что взаимоотношения, а стало быть, и спектакля, не получилась. «Разорят они вас, — сказала она мне перед тем как покинуть Венецию. Выкачают все ваши деньги, не показав вам и лоскутка бумаги». Во всяком случае, после ее отъезда я с большим усердием сосредоточился на своей задаче.

Верно, что до этого времени мне ни разу, кроме одного случая, не пришлось хотя бы на миг встретиться с моими странными хозяйками. Тем единственным исключением было утро, когда я принес им свою чудовищную дань три тысячи франков золотом. Мисс Тина уже дожидалась в sala и сразу же протянула ко мне руку за деньгами, таким образом лишив меня возможности увидеть ее тетку. Старуха накануне сказала, что примет меня сама, но, видно, ей ничего не стоило нарушить свое слово. Деньги лежали в объемистом замшевом мешке, как были получены из банка, и, чтобы принять их, мисс Тине пришлось сложить обе ладони горстью. Сделала она это с величайшей серьезностью, хоть я пытался придать чуть шуточный характер всей церемонии. И так же серьезно она спросила, взвешивая золото на ладонях, хотя в голосе ее словно бы звенела радость: «А вам не кажется, что это слишком уж, много?» Я ответил, что все зависит от того удовольствия, которое я надеюсь здесь получить. И тут она покинула меня так же стремительно, как и накануне, успев только вымолвить совсем для меня новым тоном: «Удовольствие, удовольствие, — не бывает удовольствий в этом доме!»

После того я долгое время ее не видел, казалось даже удивительным, как это в повседневном житейском обиходе мы никогда не сталкивались, хотя бы случайно. Можно было только предположить, что она тщательнейшим образом избегала подобных случайностей; впрочем, дом был так велик, что в нем нетрудно было затеряться друг для друга. Когда я уходил или возвращался, то всякий раз, проходя через sala, с надеждой ждал, не мелькнет ли где-нибудь хоть краешек ее платья, но и этой скромной надежде не дано было сбыться. Казалось, она так и сидит с утра до вечера в комнатах у тетки, даже не выглядывая за дверь. Я старался представить себе, что они там делают вдвоем, неделя за неделей и год за годом. Никогда еще мне не приходилось наблюдать столь упорной воли к одиночеству; эти две женщины не просто затаились в тиши — они напоминали животных, которые, спасаясь от преследования, притворяются мертвыми. У них никто не бывал, не заметно было никаких признаков связи с внешним миром. Ведь случись кому-нибудь прийти в дом, рассуждал я, или же мисс Тине выйти из дому, это не могло бы ускользнуть от моего внимания. Я совершил даже поступок, за который готов был сам себя презирать, хоть и оговорился мысленно, что один, мол, раз куда ни шло: попробовал навести своего слугу на разговор о привычках и нравах хозяек дома, и дал ему понять, что буду благодарен за любые сведения на этот счет. Но сведения его оказались на удивление скудны для дошлого венецианца; впрочем, там, где всегда соблюдают пост, много крошек с полу не подберешь. Вообще же он был исправный слуга, хоть и не такое совершенство, каким я его расписывал мисс Тине при нашей первой встрече. Он помог моему гондольеру доставить в дом целую кучу мебели, а когда все было перенесено в верхний этаж и расставлено по нашему с ним совместному усмотрению, сумел наладить мой домашний быт в меру тех требований, которых мне, кроме него, некому было предъявлять. Короче говоря, его заботами я мог существовать со всей приятностью, какую допускали мои не слишком удачно складывавшиеся дела. Я было понадеялся, что он влюбится в служанку мисс Бордеро или же, напротив, почувствует к ней резкую антипатию; в обоих случаях было бы неизбежно столкновение, а столкновение повело бы к переговорам. Мне почему-то казалось, что эта девушка общительна от природы, а поскольку я не раз видел, как она бежит взад и вперед по разным домашним надобностям, то поводы к общению наверно нашлись бы без труда. Но ни единой капли не привелось мне глотнуть из этого источника: как выяснилось вскоре, все чувства Паскуале были безраздельно отданы одному предмету, так что прочих женщин он попросту не замечал. То была некая молодая особа с сильно напудренным лицом, ходившая в желтом ситцевом платье и обладавшая неограниченным досугом, что позволяло ей часто навещать Паскуале. Занималась она, когда имела к тому охоту, низанием бисера для украшений, изготовляемых в Венеции в несметных количествах; карманы у нее были всегда полны этого товара, и мне не раз случалось находить бисеринки на полу своей комнаты. От ее бдительного взора не укрылась бы возможная соперница в доме. Мне же, разумеется, не к лицу было собирать прислужничьи сплетни, и с кухаркой мисс Бордеро я ни разу в разговор не вступал.

Старуха даже не позаботилась прислать мне расписку в получении платы за три месяца, и это лишний раз подтвердило мне, что она твердо решила не иметь со мной никакого дела. Несколько дней я ждал расписки, потом, убедившись, что ждать напрасно, долго ломал голову в поисках причин, побудивших ее пренебречь столь неременной и общепринятой формальностью. Сперва меня так и подмывало самому ей напомнить, но потом я отказался от этой идеи, вопреки своим представлениям о том, что было бы в данном случае правильно: счел, что важнее всего сохранить мир. Казалось бы, если мисс Бордеро подозревает меня в каких-либо тайных умыслах, моя деловитость ослабила бы ее подозрения; и все же я решил не быть деловитым. Возможно, этот промах с ее стороны был

намеренной дерзостью, ироническим жестом, призванным доказать ее умение одерживать верх над теми, кто вздумал над нею одержать верх. Если так, то лучше пусть она думает, что ее уловки остались незамеченными. На самом же деле, как я это понял впоследствии, старуха просто желала подчеркнуть, что благосклонно оказанная мне милость имеет четко обозначенные границы и я об этом не должен забывать. Она предоставила мне часть своего дома, но ничего не намерена была к этому прибавлять, даже клочка бумаги со своей подписью. Замечу попутно, что поначалу это меня не обескуражило — в самой парадоксальности положения была для меня особая прелесть. Я уже решил посвятить это лето задуманному литературному предприятию и, тешась предстоящей мне игрой со случаем, не думал о том, что сам могу оказаться игрушкой в чьих-то руках. В Венеции всякое дело требует терпения, а мне, пылкому поклоннику Венеции, был близок ее дух, тем более что в данное дело я вложил немалые средства. Дух Венеции сопутствовал мне повсюду, неотделимый от бессмертного образа поэта, суфлировавшего мне мою роль, — образа, в каждой ожившей черте которого светился гений. Я вызвал его из небытия, и он явился; я беспрестанно видел его перед собой, казалось, его лучезарная тень вновь сошла на землю заверить меня в том, что мое предприятие он считает в равной мере и своим и что мы вкупе и влюбле доведем его до благополучного конца. Он словно говорил мне: «Будь снисходителен к ней, бедняжке, у нее есть свои предубеждения, дай срок, и все образуется. Тебе сейчас трудно в это поверить, но, право же, она была очень хороша в 1820 году. А пока наслаждайся тем, что мы с тобой в Венеции — ведь нет на свете лучшего места для встречи старых друзей. Взгляни, как прекрасно тут созревание лета, как тают и сливаются воедино небо, и море, и мерцающий розоватый воздух, и мрамор старых дворцов». Моя личная эксцентрическая затея становилась частью венецианской романтики и венецианской красоты, я даже чувствовал некое мистическое родство, некую духовную сопричастность с теми, кто в прошлом отдавал себя здесь служению искусству: они трудились во имя прекрасного, во имя своего призвания, — разве я не делал того же? Прекрасное было в каждой строчке, написанной Джеффри Асперном, и я хотел, чтобы все это увидело свет.

Проходя через sala по дороге домой или из дому, я всякий раз норовил замешкаться там и подолгу, сколько позволяло мое чувство приличия, не спускал глаз с двери, которая вела в обиталище мисс Бордеро. Со стороны могло показаться, что я колдую или пытаюсь осуществить сложный гипнотический эксперимент. А я только молил бога, чтобы дверь отворилась, или думал о тех сокровищах, что таились за ней. Сейчас мне даже кажется странным, отчего это я ни разу не усумнился, что драгоценные реликвии находятся именно там, ни на миг не утратил сладостного ощущения своей непосредственной близости к ним. Они были достигаемы, они пока не ускользнули от меня, и этим моя жизнь как бы смыкалась с той блистательной жизнью, часть которой они когда-то составляли. Я настолько увлекся этой волнующей мыслью, что в своей одержимости готов был уже и мисс Тину отнести к прошлому. Она, и правда, была — и в моих глазах оставалась — частицей прошлого, эта тихая старая дева, но все же не столь давнего, как времена Джеффри Асперна, которого, подобно мне, знала только понаслышке. Но она много лет жила вместе с Джулианой, она видела и держала в руках вещи, хранившие его память, и при всей ее глупости какие-то частицы тайны не могли не пристать к ней. Той самой тайны, воплощением которой была для меня старуха и мысль о которой заставляла мое сердце критика биться сильнее. Оно и в самом деле билось особенно сильно подчас, в вечернее время, когда я, вернувшись откуда-нибудь, брел со свечой к себе наверх и вдруг останавливался под глухими сводами sala. В эти минуты полной тишины, особенно ощутимой после долгого шумного дня, загадка мисс Бордеро словно плавала в воздухе, и то обстоятельство, что она еще живет, казалось удивительней, чем когда-либо. Это были самые острые впечатления. Нечто подобное, только

в иной форме, с примесью некоторого оттенка взаимности, я испытывал и в те часы, когда сидел в саду с книгой и смотрел поверх ее страниц на закрытые окна хозяйских покоев. В этих окнах никогда не мелькало и признака жизни, как если бы из страха, что я могу их увидеть, обе дамы предпочитали проводить свои дни в темноте. Но отсюда напрашивался вывод, подтверждавший мои догадки, им, стало быть, есть что скрывать. Эти неподвижные ставни были выразительны, как зажмуренные веки, я тешил себя надеждой, что чей-то взгляд незаметно следит за мной меж сомкнутых ресниц.

В оправдание разговора о своих ботанических пристрастиях я старался как можно больше времени проводить в саду. Это, впрочем, стоило мне не только времени, но и денег (и немалых, черт побери!). Когда с устройством жилья было покончено и можно было заняться чем-то другим, я пригласил опытного цветовода, мы вместе осмотрели сад и уговорились, когда и за какую цену он будет приведен в порядок. Пошел я на это скрепя сердце: сад был мне куда милее такой, как сейчас, запущенный, весь в буйных зарослях сорняков — образ упадка, трогательный и характерный для Венеции. Но приходилось быть последовательным, ведь я же пообещал, что утоплю дом в цветах. К тому же я все еще лелеял фантастическую мечту, что цветы приведут меня к успеху гигантские букеты станут моим победным оружием. Я заброшаю старух лилиями, я розами буду штурмовать их крепость. Тяжелые двери дрогнут под мощным напором благоухания. Сад и в самом деле был доведен до крайней разрухи. На свете нет больших лодырей, чем венецианцы, и в течение многих дней растущие кучи мусора были единственным плодом усилий моего садовника. Потом началось рытье бесчисленных ям и катанье тачек с землей; измученный нетерпением, я уже подумывал, не собрать ли мне первую свою «жатву» на цветочном рынке поблизости. Но мои приятельницы по своим наблюдениям сквозь щели в ставнях наверняка знали, что с их сада пока еще не соберешь такой жатвы, и это могло посеять в них недоверие ко мне. Я взял себя в руки и вот наконец, после долгих ожиданий, увидел, как распустились первые два-три цветка. Это придало мне бодрости, и я уже спокойно ждал появления новых и новых. Лето меж тем было в полном разгаре, еще немного, и оно медленно пошло на убыль. Сейчас, когда я вспоминаю те дни, мне кажется, они были счастливейшими в моей жизни. Я почти не покидал сада, кроме разве самых жарких часов. По моему указанию в одном конце устроили беседку и поставили в ней кресло и низенький столик; я садился там со своими книгами и папками, — какое-нибудь дело всегда находилось под рукой, — и писал, и раздумывал, и томился ожиданием и надеждой, а золотое время шло и шло, и растения жадно вбирали солнце, а безмолвный старый дворец бледнел в его лучах, но с приближением вечера вновь оправлялся и обретал свои краски, а ветерок с Адриатики шелестел моими бумагами на столе.

При том, как скудно вознаграждались мои старания поначалу, казалось бы, мне очень скоро должны были надоесть все эти догадки о подробностях священного ритуала скуки, которым барышни Бордеро заполняли свой досуг в пустых затемненных комнатах; о том, всегда ли они вели такую жизнь и как им в прежние годы удавалось избегать даже вынужденных встреч с соседями. Может быть, в то время они жили по-иному, имели иные привычки, иные средства к существованию; ведь были же они когда-то молоды или, по крайней мере, средних лет. Не счесть было вопросов, которые хотелось бы тут задать, как и ответов, которые даже не приходили на ум. Я встречал многих своих соотечественников в Европе и знал причуды, нередко там на них нападавшие, но барышни Бордеро являли собой совершенно новую разновидность американских экспатриантов. Было ясно, что слово «американский» потеряло всякий смысл в приложении к ним, — десяти минут, проведенных у старухи, достаточно было, чтобы в этом убедиться. Ничто в их облике не говорило о том,

откуда они родом; все национальные черты и приметы были ими давным-давно растеряны. Ни та, ни другая не напоминали даже косвенно ничего знакомого, если бы не язык, они равно могли бы сойти за шведок или испанок. Да и то сказать, мисс Бордеро добрых три четверти века провела в Европе: из стихотворения, которое Асперн посвятил ей во второй свой приезд из Америки — мы с Камнором после долгих трудов довольно точно установили его дату — явствовало, что уже тогда, двадцатилетнею девушкой, она жила по эту сторону океана. В стихах говорилось, и, я думаю, не только для красного словца, что именно ради нее он снова приехал в Европу. Но нам ничего не было известно об обстоятельствах ее жизни в ту пору, равно как и о ее происхождении, хотя скорее всего оно было, как принято выражаться, скромным. По теории Камнора, она служила гувернанткой в доме, где бывал поэт, и вследствие этого в их отношениях с самого начала было что-то недоговоренное, а может быть, даже намеренно скрываемое. Я же сочинил свою романтическую версию, согласно которой она была дочерью художника — живописца или скульптора, покинувшего Новый Свет еще на заре нашего века и отправившегося учиться у старых мастеров. Условия сюжета требовали, чтобы сей благородный муж был вдов, беден и незадачлив и чтобы у него была еще одна дочь, всем складом резко отличная от Джулианы. Необходимо было также, чтобы обеих молодых девушек он взял с собою в Европу, где и провел остаток своей нелегкой и нерадостной жизни. Предполагалось, что мисс Бордеро в юности была капризна и склонна к опрометчивым поступкам, хотя в то же время великодушна и обворожительна, и что она пренебрегла несколькими представившимися партиями. Какие же страсти изглодали ее, какие приключения и горести вытянули из нее все соки, с каким запасом воспоминаний пришла она к своей долгой, унылой старости?

Обо всем этом я спрашивал себя, плетя ткань своих домыслов под жужжание пчел в цветнике, окружавшем беседку. Спору нет, большинство из тех, кто читал некоторые стихотворения Асперна (не столь туманные, как шекспировские сонеты, коим, на мой взгляд, они не уступают в божественном совершенстве), вполне уверены, что Джулиана не всегда придерживалась крутой стези самоотречения. Был неотделим от ее имени этакий душок нераскаянной страсти, смутный намек на то, что она не во всем точно соответствовала идеалу добропорядочной девицы. Значит ли это, что воспевший ее поэт предал ее, отдал, как говорится, на потеху поколениям потомков? Никто не укажет пальцем той именно строки, которая опорочила ее имя. Да и может ли опорочить чье-нибудь имя то, что его обесмертило, связав с творениями непреходящей красоты? По моей версии, у девицы еще до встречи с Джеффри был возлюбленный-иностранец, и, возможно, любовь эта окончилась драмой, недостойным разрывом. Она жила с отцом и сестрой в своеобразной среде старомодной артистической богемы, съехавшейся из разных стран в те времена, когда только академичное считалось эстетичным и художники, умевшие выбирать лучшие модели для своих *contadina*¹⁰ и *pifferaro*,¹¹ ходили в шляпах с высокой тульей и с волосами до плеч. То было общество, где не умели ценить ни представляющиеся партии, ни преимущества раннего вставания, и равнодушнее, чем в нынешних артистических кругах, относились ко всякой древней рухляди, включая черепки глиняной посуды; оттого-то мисс Бордеро не накопила и не унаследовала ничего такого. В комнате, где она со мной беседовала, я не заметил ни одной из тех безделушек, что возбуждают зависть легендами о том, как дешево они достались владельцу. Вероятно, это обстоятельство лишь свидетельствовало о бедности,

¹⁰ Крестьянка (итал.)

¹¹ Дудочник (итал.)

но оно как нельзя лучше отвечало тому сентиментальному интересу, который я всегда испытывал к ранней поре жизни моих соотечественников в Европе. В переезде американцев за океан в 1820 году было нечто романтическое, чуть ли даже не героическое, если сравнить с беспрестанным мельтешением, свойственным нашему времени, когда фотография и прочие новшества отняли у людей способность удивляться. Мисс Бордеро со своими родными плыла в Европу на парусном судне, которое всю дорогу швыряло по волнам; путешествия тогда были долгими, а впечатления — очень разными; потом она тряслась на империях желтых дилижансов, ночевала в придорожных гостиницах, и ночью ей снилось услышанное от дорожных спутников, а прибыв в Вечный город, восторгалась красотой римских шейных платков, изделий из жемчуга и мозаичных брошек. Для меня во всем этом было что-то трогательное, и воображение часто возвращало меня к тем временам. Если сейчас повод к тому дала мисс Бордеро, то, разумеется, прежде такую роль, и с куда большим эффектом, не раз играл для меня Джеффри Асперн. Анализируя его творчество, я все глубже оценивал то обстоятельство, что он жил еще до эпохи всеобщего взаимопроникновения. Порой я даже мысленно сетовал на то, что ему вообще довелось познакомиться с Европой, и гадал, что было бы написано им, не имей он этого опыта, несомненно, его обогатившего. Но коль скоро судьба распорядилась иначе, я следовал по его стопам и старался вообразить, как должен был сказаться на нем порядок вещей, господствовавший в старом мире. Впрочем, это не был единственный предмет моих раздумий, его отношение ко всему существенно новому представляло для меня еще больший интерес. В конце концов большая часть его жизни прошла на родине, и его муза, по общему суждению, была американской музой. Именно это я в нем и оценил поначалу: что в годы, когда наша страна была грубой, неотесанной и провинциальной, когда никто еще и слыхом не слыхивал о той «атмосфере», в отсутствие которой ее теперь упрекают, когда ее литература шла одиноким путем, а об искусствах пластических и помышлять было нечего, в те годы он сумел жить и писать, став одним из первых, и быть свободным, и широко мыслить, и ничего не бояться, и все понимать и чувствовать и найти выражение всему.

V

Я редко сидел дома по вечерам; работать или читать в комнатах мешали тучи зловредной мошкары, слетавшейся на свет лампы, а при закрытых окнах было нестерпимо душно. Поэтому я проводил вечерние часы либо в гондоле Венеция при луне особенно хороша, — либо на великолепной площади, что служит как бы обширным преддверием причудливому собору св. Марка. Я располагался за столиком перед кафе Флориана, ел мороженое, слушал музыку, болтал со знакомыми; какой бывалый путешественник не знает этого скопища столиков и легких стульев, точно береговой мыс вдающегося в гладь озера Пьяццы. Летним вечером площадь, сияющая огнями, опоясанная бесконечной аркадой, полной отзвуков многоголосого гомона и шагов по мраморным плитам, вся точно огромный зал со звездным небом вместо крыши, где так хорошо не спеша попивать прохладительные напитки и столь же не спеша разбираться в богатых впечатлениях, накопленных за день. А если я не был расположен предаваться этому занятию в одиночку, всегда находился партнер в лице какого-нибудь туриста, на время решившегося расстаться со своим Бедкером, или художника, который уже обжился в Венеции и теперь радовался приходу поры неповторимых эффектов освещения. Знаменитая базилика с ее низкими куполами и выпуклой вязью орнамента, с редкостным чудом ее мозаик и скульптур, казалась призрачной

в мягком вечернем сумраке, а с Пьяццетты тянуло морским ветерком, таким легким, словно его рождали колебания невидимой завесы там, где две парных колонны стоят точно косяки ворот, давно уже никем не охраняемых. В такие вечера я иногда с состраданием вспоминал о барышнях Бордеро, томящихся в своих покоях, венецианские масштабы которых не спасают от духоты венецианского июля. Казалось, их жизнь бесконечно удалена от жизни Пьяццы, и, право же, поздно было ожидать, что кто-нибудь или что-нибудь заставит суровую Джулиану изменить своим привычкам. А вот мисс Тина с удовольствием полакомилась бы флориановским мороженым, в этом я был уверен, и даже подумывал иногда, не принести ли ей порцию. По счастью, мое долготерпение в конце концов принесло некоторые плоды, и эта сумасбродная затея осталась неосуществленной.

Как-то в середине июля я вернулся домой раньше обычного — уже не помню, что послужило причиной, — и, вместо того чтобы сразу подняться к себе наверх, вышел в сад. Было очень жарко, настолько, что кажется, и вовсе не уходил бы в помещение; во всяком случае, постель меня не влекла. Плывая в гондоле домой, под тихие всплески весла в темной воде канала, я думал только об одном: хорошо будет сейчас растянуться на садовой скамье в благоуханном вечернем сумраке. Вероятно, таким мечтам немало способствовали запахи канала, и как только сад дохнул на меня своим ароматом, я почувствовал, что не зря стремился сюда. Что за чудесный воздух — такой, должно быть, подхватывал мольбы Ромео, когда он, среди цветов, простирал руки к балкону своей возлюбленной. Я даже глянул на дворцовые окна — не нашлось ли часом охотника последовать веронскому примеру — Верона ведь совсем недалеко; но везде было темно, как всегда, и, как всегда, везде было тихо. Быть может, Джулиане в ее молодые годы случалось летним вечером шептаться с Джеффри Асперном, склоняясь к нему из открытого окна; но мисс Тина не была возлюбленной поэта, а я не писал стихов. Последнее, впрочем, не помешало мне испытать порыв горделивого самодовольства, когда я, дойдя до дальнего конца сада, увидел, что в беседке сидит моя младшая падчерица. То есть сперва я просто различил контуры человеческой фигуры и, далекий от мысли, что одна из моих хозяек могла проявить подобную смелость, даже заподозрил было, не прокралась ли в сад какая-нибудь соседская служанка на свидание со своим дружкой. Я уже хотел удалиться, чтобы не спугнуть ее, но тут фигура выпрямилась во весь рост, и я узнал племянницу мисс Бордеро. Справедливости ради замечу, что ее мне тоже пугать не захотелось — и как я ни мечтал о таком случае, у меня достало бы мужества отступить. А то получилось так, будто я ей подстроил ловушку, вернувшись домой раньше обычного, да еще пройдя сразу в сад. Но она сама заговорила со мной, и тут меня осенило: а может быть, зная, что меня никогда не бывает дома в это время, она каждый вечер спускается подышать в одиночестве свежим воздухом сада. Конечно, мне это и в голову не приходило, и никакой ловушки я не подстраивал. Не разобрав слов, с которыми она ко мне обратилась, я принял их за возглас досады, вызванный моим появлением, но она повторила сказанное, и каково же было мое удивление, когда я услышал: «Господи, как хорошо, что вы пришли!» Это у нее было общее с теткой — говорить то, чего меньше всего ожидает собеседник. Она так стремительно выбежала из беседки, словно собиралась броситься мне на шею.

Оговорюсь немедленно, что это испытание меня миновало, — она мне даже не подала руки. Просто ее обрадовал мой приход, и она тут же объяснила причину — вечером ей жутковато вне дома одной. Деревья и кусты выглядят в темноте так странно, и непонятные звуки слышны со всех сторон, будто там урчат и возятся какие-то звери. Она стояла совсем рядом и уснокоенно озиралась кругом, не выказывая никаких признаков интереса к моей особе. Мне стало ясно, что привычка к ночным прогулкам едва ли свойственна ей, и я вновь

почувствовал невообразимое простодушие этого существа, так поразившее меня еще при нашей первой встрече.

— Вас послушать, так подумаешь, что вы заблудились в лесной глуши, ободрительно засмеялся я. — Для меня загадка упорство, с которым вы избегаете этого маленького рая, когда вам достаточно сделать три шага — и вы здесь. Знаю, вы намеренно прячетесь, когда я дома; но в мое отсутствие могли бы, кажется, хоть ненадолго выходить в сад. Поистине ваша с тетушкой участь суровой, чем участь затворниц кармелитского монастыря. Непонятно, как вам вообще удастся существовать без воздуха, без моциона, без всяких сношений с другими людьми! Из чего же складывается у вас то, что принято называть жизнью?

Она посмотрела на меня с таким видом, словно я обращался к ней на чужом языке, и ее ответ так мало заслуживал этого названия, что подействовал на меня раздражающе. «Мы рано ложимся спать, вы даже не представляете себе, когда». Я хотел было заметить, что тем сильнее мое недоумение, но следующие ее слова оказались несколько более вразумительными: «До вашего приезда мы жили менее замкнуто. Но я все равно никогда не выходила по вечерам».

— Никогда не прогуливались по этим дорожкам, где все цветет и благоухает около самого вашего дома?

— О-о, — сказала мисс Тина, — раньше здесь не было так красиво!

Это можно было толковать в лестном для меня смысле, и я усмотрел тут признак некоторого успеха. В качестве следующего шага неплохо было намекнуть, что у меня есть повод для недовольства; и я спросил, отчего же, если ей нравится эта созданная мной красота, она ни разу не поблагодарила меня хотя бы за цветы, которые я вот уже три недели в таком количестве посылаю ей каждое утро. Я не в обиде и, как она могла заметить, продолжаю их посылать; но меня с детства учили, что на внимание принято отвечать вниманием, и мне было бы приятно порой услышать от нее хоть одно любезное слово.

— Но я вовсе не думала, что эти цветы для меня!

— Они для вас обеих. Почему бы мне делать между вами разницу?

Мисс Тина задумалась, словно в поисках объяснения — почему, в самом деле. Но не нашла его, и вместо объяснения последовал неожиданный вопрос: «Зачем вам хочется познакомиться с нами поближе?»

— Нет, видно, все-таки разницу делать надо, — сказал я. — Ведь это не ваш вопрос, а тетушкин. Вы бы мне его не задали сами от себя.

— Она мне не приказывала задавать вам этот вопрос, — возразила мисс Тина, нимало не смутившись. Робость и прямота сочетались в ней самым удивительным образом.

— Но она часто удивлялась моим действиям и выражала свое удивление вслух. Причем так настойчиво, что мало-помалу внушила и вам эту мысль о моей чрезмерной напористости. А я, между прочим, считаю, что вел себя весьма скромно. И ваша тетушка, должно быть, утратила всякое понятие о человеческих отношениях, если готова забыть тревогу из-за того, что разумные, благовоспитанные люди, живя под одной кровлей, время от времени перекинутся словечком между собой. Что может быть более естественным? У нас общая родина, кое-какие общие вкусы, — я, например, как и вы, нежно люблю Венецию.

Очевидно, мисс Тина была способна воспринять смысл только одной фразы собеседника, даже если его речь состояла из нескольких, и, как только я кончил, она

торопливо и возбужденно отозвалась: «Но я вовсе не люблю Венецию. Я бы охотно уехала куда-нибудь подальше отсюда».

— Она вас всегда держала взаперти? — спросил я и тем доказал, что умею быть столь же непоследовательным в разговоре.

— Это она мне сегодня велела выйти; она часто велит, — сказала мисс Тина. — А я всегда отказываюсь. Я не люблю оставлять ее одну.

— А что, она очень слаба, ее здоровье ухудшилось? — спросил я, обнаружив неуместное волнение. Я это понял по тому, как взглянула на меня в полутьме мисс Тина. Несколько сконфуженный, я поторопился изменить направление разговора и предложил бодрым голосом: — Давайте усядемся где-нибудь поудобнее, и вы мне расскажете о ней.

Мисс Тина не стала возражать. Мы выбрали скамью в менее уединенном, словно бы даже менее располагающем к доверительности месте, чем беседка: и мы все еще сидели там, когда я услышал звон, возвещавший полночь — чистый и ясный звон венецианских колоколов, который с особой, несравненной торжественностью разносится над лагуной и куда дальше дрожит в воздухе, чем звон любых других колоколов. Мы час с лишком пробыли вместе, и наш разговор, как мне казалось, сильно подвинул меня к цели. Мисс Тина легко приняла новое положение вещей; три месяца она избегала меня, но теперь держалась так, словно за эти три месяца я превратился в испытанного друга. При желании я мог заключить, что если она меня избегала, то делала это далеко не бездумно. Сейчас она точно не замечала времени, ничуть не смущаясь тем, что я так долго удерживаю ее вдали от тетки. Говорила она охотно, отвечала на вопросы и спрашивала сама и ни разу не воспользовалась естественной паузой в разговоре, чтобы заметить, что ей, мол, пора домой. Могло показаться, будто она ждет чего-то — каких-то моих слов — и хочет облегчить мне возможность их произнести. Я это особенно почувствовал, когда она рассказывала, что в последнее время тетка сильно сдала и в ее поведении что-то изменилось. Она заметно ослабела, порой силы вовсе оставляют ее, но в то же время она гораздо больше прежнего стремится бывать одна. Оттого она и ее, мисс Тину, гонит из дому — не хочет даже, чтоб та оставалась в своей комнате, расположенной рядом с тетушкиной спальней; называет ее «скучной» и «нудной» и твердит, что при ней чувствует себя хуже. Часами она сидит в своем кресле не шевелясь, будто спит; ей и раньше случалось подолгу просиживать так, то ли задремав, то ли уйдя в свои думы; но время от времени она, бывало, подает признаки жизни, что-то скажет, окликнет племянницу, которая по ее требованию безотлучно находилась тут же. А теперь, продолжала моя горемычная собеседница, она зачастую так долго остается неподвижной, что пугаешься, уж не умерла ли она, — и притом почти ничего не ест, не пьет, чем только еще держится. Но вот что замечательно: она все-таки почти каждый день встает с постели; правда, нелегкое это дело — одеть ее, усадить в кресло на колесах, выкатить из спальни. Не хочет отставать от старых привычек — ведь в прошлые годы, когда в доме еще порой бывали гости, она принимала их не иначе, как в большой гостиной.

Я не знал, что и подумать обо всем этом — о непривычной словоохотливости мисс Тины, об услышанном от нее удивительном известии, что чем больше слабеет здоровье старухи, тем решительней она отказывается от всяких забот племянницы. Как-то это плохо вязалось одно с другим, и я даже задавал себе вопрос, нет ли тут подвоха, не ловушка ли это, рассчитанная на то, чтобы заставить меня раскрыть свои карты. Неясно было только, зачем бы это моим любезным хозяйкам (любезными, впрочем, я мог назвать их только из вежливости) — какой им интерес изобличать в чем-то столь выгодного жильца. Но, на всякий случай, я решил соблюдать осторожность и не дать мисс Тине нового повода

спросить, «что у меня на уме». Бедняжка, — еще до того как мы с ней пожелали друг другу доброй ночи, я пришел к твердому убеждению, что насчет ее самой в этом смысле можно не беспокоиться. У нее на уме не было ровно ничего.

Она поведала мне больше, чем я мог надеяться. Не понадобилось даже что-либо выпытывать. Как видно, одно сознание, что ее слушают, и слушают сочувственно, располагало мисс Тину к откровенности. Она больше не думала о моих тайных побуждениях и так разговорилась, описывая блестящую жизнь, которую они с теткой вели когда-то, что не могла остановиться. Разумеется, блестящей эта жизнь была в глазах мисс Тины; по ее словам, когда они впервые поселились в Венеции много-много лет назад — я заметил, что она не слишком сильна по части хронологии, — недели не проходило без приема гостей или приятной прогулки по городу. Они познакомились со всеми достопримечательностями, даже ездили на Лидо (она произнесла это так, словно я мог подумать, что туда можно добраться пешком), привезли с собой три корзины с провизией и расположились пикником на траве.

Я спросил, кто составлял их общество, и она сказала: «О, милейшие люди-Cavaliere¹² Бомбичи и Contessa¹³ Альтемура, с которой мы были очень дружны, также кое-кто из англичан Чертоны и Гольди и миссис Сток-Сток, самая наша любимая приятельница; ее, бедной, давно уже нет в живых. Как, впрочем, и большинства членов нашего дружеского кружка, — так именно выразилась мисс Тина; осталось лишь несколько — и то еще удивительно, что эти оставшиеся не вовсе забыли нас, ведь уже много лет, как мы перестали кого-либо принимать у себя». Она назвала имена двух или трех старых венецианских дам, одного доктора — он очень хороший специалист и был всегда очень внимателен к ним, хотя только в качестве друга, практиковать он давно уже перестал; потом еще *ovvacato*¹⁴ Покинтеста, который прекрасно писал стихи и даже посвятил одно стихотворение тетушке. Все они и сейчас непременно навещают их каждый год, преимущественно в день *Сапо d'Anno*;¹⁵ в прежнее время они с тетушкой всегда дарили им какие-нибудь пустячки, собственноручной ее, мисс Тины, работы — бумажные абажуры, салфеточки под графины с вином или вязанные из шерсти напульники для холодной погоды. Последнее время подарков уже почти не было, сама она не знала, что придумать, а тетушка утратила интерес и ничего не подсказывала ей. Но гости все-таки приходили; в Венеции если кто подружится, так это уж навсегда.

Было немало трогательного в этом проникновенном описании былых светских утех; память о пикнике на Лидо не потускнела за долгие годы, и бедная мисс Тина, видно, искренне верила, что прожила бурную юность. Ей и в самом деле довелось соприкоснуться с Венецией, верней, с миром венецианских сплетниц, бережливых домохозяек, врачей и адвокатов — недаром я в этот вечер впервые подметил у нее знакомую мне воркующую, почти ребяческую манеру говорить, свойственную венецианцам. О том, что эта лишенная твердой основы речь стала для нее не чужой, можно было судить по тому, как легко приходили ей на язык местные имена и названия. Правда, она мало что знала о предметах и

¹² Кавалер (итал.)

¹³ Графиня (итал.)

¹⁴ Адвокат (итал.)

¹⁵ Новый год (итал.)

людях, к которым они относятся, но еще меньше знала о чем-либо другом. Ее тетка со временем замкнулась в себе — потеря интереса к салфеточкам и абажурам была одной из внешних примет, — а в одиночку она не смогла поддерживать светские связи; оттого-то все ее думы и воспоминания и обращены были к стародавним временам. Если бы не целомудренная благопристойность этих воспоминаний, казалось, можно было бы даже различить за ними причудливое рококо Венеции Гольдони и Казановы. Я то и дело себя ловил на том, что воспринимаю и ее как современницу Джеффри Асперна; уж очень мало в ней было сходного с моими современниками. А между тем, думал я, возможно, она даже не слыхала о нем; что удивительного, если Джулиана не пожелала откинуть перед этими невинными очами завесу, скрывавшую алтарь ее былой славы. Но тогда вряд ли она знает о существовании писем; я было порадовался такой вероятности — ведь если так, можно не опасаться ее подозрений — да вдруг вспомнил, что полученное Камнором обескураживающее письмо было написано рукой племянницы. Даже если она писала под диктовку, она не могла не знать, о чем идет речь, хотя в письме и отвергалась всякая мысль о знакомстве с поэтом. Но при всех обстоятельствах я готов был поручиться, что мисс Тина не прочла ни одной строчки его стихов. К тому же, поскольку обеим дамам на протяжении стольких лет удавалось избегать любопытных расспросов и взглядов, мисс Тине скорее всего и в голову не приходило, что кто-то «охотится» за письмами Асперна. Никто за ними не мог охотиться, потому что никто про них не знал. Обращение Камнора было лишь случайной попыткой, предпринятой наудачу и ни к чему не приведшей.

Когда пробило полночь, мисс Тина встала, но еще сделала со мной два или три круга по саду, прежде чем остановиться у дверей дома. «Когда мы опять увидимся?» — спросил я, и она с готовностью ответила, что выйдет завтра вечером. А может быть, и нет, — ей хотелось бы выйти, но она редко поступает так, как ей хочется.

— Вот если бы вы хоть раз поступили, как мне хочется, — неприятно вздохнул я.

— Вам? О нет, я вам не верю! — возразила она, подняв на меня свой простодушный серьезный взгляд.

— Отчего же вы не верите мне?

— Оттого, что я вас не понимаю.

— В таких-то случаях и следует полагаться на доверие. — Больше я ничего не сказал, хотя и не прочь был продолжить разговор; но я видел, что она совсем озадачена, и мне не хотелось обременять свою совесть сознанием, что я дал ей повод подумать, будто веду с ней любовную игру. А как еще можно было истолковать настойчивые просьбы о доверии, обращенные мужчиной к женщине в тиши итальянской летней ночи? Щепетильность моя была не лишена оснований: мисс Тина медлила и медлила, и я чувствовал, что она далеко не убеждена в возможности новой ночной прогулки и потому стремится продлить нынешнюю. Кроме того, ей явно хотелось говорить о том, что касалось нас с нею, словом, она вела себя так, как может себя вести только очень бесхитростная и не очень умная женщина.

— Меня теперь особенно будут радовать ваши цветы, раз я знаю, что они предназначены и для меня.

— Неужели вы могли думать иначе? Назовите мне ваши любимые, я позабочусь, чтобы вы получали их вдвое больше.

— О, я все цветы люблю! — воскликнула она, а потом спросила почти интимным тоном: — Вы еще будете работать, когда вернетесь в свою комнату, читать, писать?

— Нет, я по ночам не работаю. В это время года свет лампы привлекает насекомых.

— Разве вы не знали этого прежде?

— Знал, разумеется.

— А зимой вы работаете по ночам?

— Читаю много, но писать почти не пишу. — Она слушала так, словно подобные мелочи представляли для нее необычайный интерес, и вдруг, глядя на это некрасивое доброе лицо, я почувствовал соблазн, пересиливший все благоразумные соображения. Да, да, она ничего не подозревает, не заподозрит и впредь. А мне, право, больше невмочь ждать — я должен запустить пробный шар. — Читать в постели — вредная привычка, но я, признаюсь, люблю перед сном почитать хорошие стихи. На моем ночном столике всегда лежит томик одного из великих поэтов, чаще всего — Джеффри Асперна.

Я зорко следил за ней, выговаривая это имя, но ничего примечательного не увидел. А что, собственно, я ожидал увидеть? Разве Джеффри Асперн не принадлежит человечеству?

— Да, мы его тоже читаем, вернее, читали, — как ни в чем не бывало, промолвила она.

— Это мой любимейший поэт — я наизусть знаю почти все его стихи.

Мисс Тина секунду колебалась; но жажда общения одержала верх.

— О, стихи, это что! — Чуть заметный свет загорелся в ее глазах. — Вот моя тетушка, моя тетушка... — Она запнулась, и я замер в ожидании. — Тетушка знала его в жизни.

— В жизни? — переспросил я довольно безразличным тоном.

— Да, он у нее бывал, сопровождал ее в театр, на прогулки.

Я округлил глаза.

— Помилуйте, мисс Тина, да он умер сто лет тому назад.

— Ну и что ж, — почти весело сказала она. — А тетушке полтора.

— Боже праведный! — вскричал я. — Почему же вы мне раньше об этом не сказали? Я был бы так счастлив порасспросить со о нем.

— Она все равно ничего бы вам не рассказала — она этого не любит.

— Да какое мне дело, любит или не любит. Она должна рассказать мне разве мыслимо упустить такой случай!

— Вам бы надо приехать лет двадцать тому назад. Тогда она еще охотно о нем вспоминала.

— И что же она говорила? — жадно допытывался я.

— Мало ли что, — что он был очень увлечен ею.

— А она? Была ли она им увлечена?

— Она его называла божеством. — Мисс Тина сообщила это ровным, лишенным выражения голосом, точно пустяковую местную сплетню. Но меня глубоко потрясли эти слова, оброненные в тишину июльской ночи; они прозвучали как шелест страниц полустлывшего от времени любовного послания.

— Подумать только! — прошептал я. И снова обратился к мисс Тине: Скажите, прошу

вас, нет ли у нее его портрета? Их, увы, почти не сохранилось до наших дней.

— Портрета? Не знаю, — ответила она с замешательством, которого прежде не чувствовалось. И, отрывисто пожелав мне доброй ночи, вошла в дом.

Я последовал за нею в широкий мощный каменными плитами нижний коридор, приходившийся под sala бельэтажа. С одного конца он выходил в сад, с другого — на канал, и у входа тускло светила лампочка, которую обычно оставляли для меня, чтобы я мог освещать себе путь, поднимаясь вверх. Рядом с лампочкой стояла на столике свеча, видимо, принесенная мисс Тиной.

— Доброй ночи, доброй ночи! — отвечал я, следуя за ней, и, покуда она зажигала свечу от моей лампы, успел добавить: — Ведь если бы он у нее был, вы бы, наверно, знали?

— Если бы у нее было — что? — спросила она, как-то странно взглянув на меня поверх пламени свечи.

— Портрет божества. Чего бы только я не дал, чтобы его увидеть.

— Не знаю я, что у нее есть, чего нет. Она все запирает. — И мисс Тина пошла к лестнице, ведущей вверх, явно считая, что наговорила слишком много.

Я ее не удерживал, чтобы не напугать, лишь заметил вслед, что вряд ли мисс Бордеро упрятала бы такую вещь под замок. Владей она столь бесценным сокровищем, она бы им гордилась, повесила бы его на почетном месте в гостиной. А стало быть, никакого портрета у нее нет. Мисс Тина промолчала и стала подниматься по лестнице, держа свечу высоко перед собой. Но на третьей или четвертой ступеньке она вдруг остановилась и, круто повернувшись, устремила свой взгляд в полутемное пространство, где я стоял.

— Вы что ж, тоже пишете — пишете, да? — Голос ее срывался, она с трудом выговаривала слова.

— Пишу ли я? О, не будем касаться моих писаний вслед за разговором о том, что написано Асперном.

— Но вы пишете о нем, вы хотите выведать подробности его жизни?

— А вот это уж тетушкин вопрос, вы бы сами до этого не додумались, сказал я, придав легкий оттенок обиды своему тону.

— Что же, тем более вы должны ответить. Так это или не так?

Я считал себя готовым к любым измышлениям, которых от меня могут потребовать обстоятельства, но, когда дошло до дела, я понял свою ошибку. Кроме того, после всего, что уже было сказано, мне почему-то не захотелось лгать. Наконец, пусть это была призрачная, безрассудная надежда, но мне казалось, что, даже если я скажу правду, мисс Тина в конечном счете не лишит меня своего дружеского расположения. И, поколебавшись несколько секунд, я ответил: «Да, я пишу о нем и пытаюсь найти новые материалы. Умоляю, скажите, есть ли у вас что-нибудь?»

— Santo Dio!¹⁶ — воскликнула она вместо ответа и, бросившись вверх по лестнице, мгновенно исчезла из виду. Да, в конечном счете, может быть, я и вправе был надеяться на ее поддержку, но сейчас она явно находилась в полном смятении. Достаточно сказать, что она снова начала от меня прятаться, и целых две недели я напрасно ожидал ее по вечерам.

¹⁶ Боже правый! (итал.)

Терпение мое истощилось, и я отдал садовнику приказ об отмене «цветочной подати».

VI

Но вот однажды под вечер, спустившись со своего верхнего этажа с намерением пойти прогуляться по городу, я застал мисс Тину в sala — впервые с тех пор, как я сделался обитателем дома. Она не пыталась делать вид, будто мы встретились ненароком; ее угловатой, непритворной застенчивости были чужды подобные уловки. Мне не пришлось гадать, не меня ли она дожидается, она сама сказала мне об этом, прибавив, что мисс Бордеро желает меня видеть и, если я никуда не спешу, она незамедлительно проводит меня к ней. Даже торопись я на любовное свидание, я бы не задумался пренебречь им ради такого случая, и я сразу же ответил, что буду счастлив засвидетельствовать почтение своей благодетельнице. «Она хочет поговорить с вами — узнать вас получше», сказала мисс Тина с улыбкой, означавшей, что такое желание кажется ей вполне разумным, и мы вместе направились к апартаментам мисс Бордеро. У самых дверей, однако, я остановил свою провожатую жестом и, устремив на нее испытующий взгляд, сказал, что я крайне обрадован и польщен столь крутым поворотом в поведении ее тетушки, но хотел бы узнать, чем этот поворот вызван. Ведь совсем еще недавно меня и близко подпускать не хотели. Мисс Тину мой вопрос не смутил, у нее на все был готов неожиданный ответ, такой простой, ясный и всегда подходящий к случаю, что казалось, она только что его придумала; но самое удивительное заключалось в том, что она говорила чистую правду. «Ах, тетушка переменчива, — сказала она, — у нас такая скука — ей, верно, надоело».

— Но вы мне говорили, она все больше и больше предпочитает оставаться одна.

Бедная мисс Тина покраснела, словно не одобряя моей настойчивости.

— Я вам сказала, что тетушка хочет видеть вас, а там уж воля ваша верить или не верить! Наверно, у всех очень старых людей бывают свои капризы.

— Бы совершенно правы. Мне только хотелось бы выяснить одно: говорили ли вы ей о том, что узнали от меня в тот вечер в саду?

— А что я узнала?

— Про Джеффри Асперна — что я собираю материалы о нем.

— Если бы я сказала ей, разве она послала бы за вами?

— Не знаю. Если ей желательно сохранить его для себя одной, она могла послать за мной, чтобы сказать мне это.

— Не будет она вовсе о нем говорить, — сказала мисс Тина. И, уже взявшись за ручку двери, добавила вполголоса: — Я ей ничего не сказала.

Старуха сидела на том же месте, где я ее видел в прошлый раз, в той же позе, с тем же полным таинственности козырьком над глазами. Вместо приветствия она повернула ко мне свое полускрытое лицо в знак того, что хоть и молчит, но видит меня отлично. Я не сделал попытки поздороваться с нею за руку, успев уже усвоить себе, что это исключено раз и навсегда. Особа мисс Бордеро была священна и неприкосновенна, и никаким пошлым новшествами не могло быть места в обращении с нею. Зеленый козырек придавал ее облику

нечто зловещее; оттого, должно быть, я вдруг перестал сомневаться, что она меня подозревает, — хоть не следует понимать это так, будто я усумнился в правдивости слов мисс Тины. Нет, мисс Тина меня не предавала, но старухе пришел на помощь ее деятельный инстинкт; в долгие ничем не занятые часы она примерялась ко мне, выворачивала меня на все стороны и наконец разгадала. Хуже всего было то, что такая старуха в критическую минуту не задумалась бы подобно Сарданапалу предать свое сокровище огню.

Мисс Тина пододвинула мне кресло со словами: «Вот тут вам будет удобно». Я сел и осведомился о здоровье мисс Бордеро, выразив надежду, что жаркая погода ей не вредит. Она отвечала, что чувствует себя недурно — да, недурно: живет — и то уже хорошо.

— Это смотря по тому, с чем сравнивать, — улыбнулся я в ответ.

— А я не сравниваю — ничего и ни с чем не сравниваю. Иначе для меня бы давно уже все перестало существовать.

Я пожелал усмотреть в этом тонкий намек на блаженство, которое она испытала некогда от дружбы с Джеффри Асперном, хоть это плохо вязалось с приписанной ей мною решимостью хранить память о нем глубоко в своей душе. Зато отлично вязалось с моим представлением об Асперне как о человеке, наделенном необычайным даром светского общения, и лишний раз доказывало, что никакой другой предмет не может быть сочтен достойным разговора, если собираются говорить о нем. Но никто о нем говорить не собирался! Мисс Тина присела около тетушки с таким видом, будто ожидала, и не без оснований, много интересного от нашей беседы.

— Я хотела поблагодарить вас, — сказала старуха, — за прекрасные цветы, которые вы нам посылали. Мне бы давно следовало это сделать. Но я теперь очень редко кого-нибудь принимаю, а писем не пишу вовсе.

Она не благодарила меня, покуда каждый день исправно получала букеты, но стоило ей испугаться, что букетов больше не будет, и она в нарушение всех своих правил сама послала за мной. Я мысленно отметил это; я вспомнил, с какой алчностью она стремилась вытянуть из меня золото, и я порадовался, что так удачно обернулось мое решение прекратить посылку цветов. Она привыкла к этой дани и готова была пойти на уступки ради ее возобновления. Я не мог не сделать отсюда практического вывода.

— В последнее время я, к сожалению, был не так аккуратен, но завтра же вы снова получите очередной букет — или даже сегодня вечером.

— Ах, лучше сегодня! — воскликнула мисс Тина, словно речь шла о чем-то, не терпящем отлагательств.

— Вам их все равно некуда девать. Не будете же вы свои комнаты превращать в оранжерею — мужчине это не пристало.

— Превращать свои комнаты в оранжерею я не собираюсь, но я очень люблю ухаживать за цветами, следить, как они распускаются. Ничего недостойного мужчины в этом занятии нет, оно часто служило утехой философам, государственным деятелям в отставке, даже великим полководцам.

— Правда, вы бы могли продавать лишние цветы, — заметила мисс Бордеро. — Много, пожалуй, за них не выручишь, но ведь можно и поторговаться.

— О, я никогда не торгуюсь, как вы, верно, заметили сами. Мой садовник поступает по своему усмотрению, а как, я о том не спрашиваю.

— И напрасно, я бы непременно спросила! — сказала мисс Бордеро, и тут я впервые услышал ее смешок. Станным он был для слуха — словно тень голоса прежней Джулианы вывела вдруг озорное коленце. Мне снова сделалось не по себе: неужели только мысль о деньгах еще способна оживить ту, что некогда была вдохновительницей божественной поэзии Асперна?

— Приходите почаще в сад, приходите хоть каждый день и сами рвите любые цветы, какие понравятся. Они все предназначены для вас, — продолжал я, обращаясь к мисс Тине и маскируя правду, заключенную в этих словах, тоном невинной шутки. — Почему ваша племянница совсем не бывает в саду? — прибавил я, чтобы вернуть внимание старухи.

— А вы заставьте ее бывать, заходите за ней, идучи туда, — услышал я ошеломляющий ответ. — Это ваше нелепое сооружение в дальнем углу — отличное для нее место.

Мне показался обидным такой отзыв о беседке, воздвигнутой по моему замыслу, — тенистом приюте, которым я особенно гордился; впрочем, я уже при первой нашей встрече уловил эти дерзкие нотки, проскальзывавшие порой в речи мисс Бордеро, — слабый отголосок задорно-лукавого тона времен ее бурной молодости, каким-то образом оказавшегося более живучим, нежели чувства и привычки. Но я не подал виду и продолжал, обращаясь уже к ней:

— Быть может, вы и сами решились бы когда-нибудь спуститься в сад? Вам, наверно, пошло бы на пользу посидеть там в тени, подышать свежим воздухом.

— Дорогой сэра, если уж я покину эти комнаты, то не для того, чтобы дышать свежим воздухом, да и не думаю, чтобы он был так уж свеж там, куда я отправлюсь! Что же до тени, то ее там будет предостаточно. Но до этого пока далеко, — добавила мисс Бордеро с хитрецей, словно чтобы погасить надежды, которые могла пробудить во мне столь вольно изображенная картина ее последнего земного убежища. — Немало часов я провела в этом саду, немало повидала на своем веку тенистых беседок. И без всякого страха жду, когда господь призовет меня к себе.

Если мисс Тина и в самом деле приготовилась к изысканной беседе, должно быть, тетюшка несколько разочаровала ее — тем более что, казалось бы, я приглашен был с благою целью. Словно желая придать разговору оборот, который в более благоприятном свете представил бы нашу старшую собеседницу, она сказала мне: «Я ведь вам говорила: это по настоянию тетюшки я тогда вышла в сад. Теперь вы и сами видите, что она ничем не стесняет мою свободу!»

— Так вы жалеете ее или учите жалеть самое себя? — вмешалась мисс Бордеро прежде, чем я успел ответить. — А ведь ей живется куда легче, чем мне жилось в ее годы.

— Вспомните, что у меня были все основания счесть вас бесчеловечной, сказал я.

— Бесчеловечной? Так сотню лет назад поэты называли женщин. Но вы не пытайтесь им подражать, где уж вам! Теперь поэзии больше нет, по крайней мере, насколько я знаю. Но довольно этих пустых разговоров, — прервала она себя, и я хорошо помню, как по старомодному деланно зазвучали ее слова. — С вами я все только болтаю, болтаю, болтаю! А мне это вовсе не полезно. — Я встал и сказал, что больше не смею отнимать у нее время, но она остановила меня вопросом: — Вы не забыли, что, беседуя со мной в первый раз, предложили нам пользоваться вашей гондолой? — Я поспешил подтвердить это, дивясь в то же время упорству, с которым она стремится выжать все, что можно, из моего пребывания в

доме, и гадая, куда она теперь гнет; а она между тем продолжала: — Вот и пригласили бы девицу покататься, показали бы ей город.

— Что это вам вздумалось, милая тетушка! — жалобно воскликнула «девица». — Я отлично знаю город.

— В таком случае, ты сможешь давать пояснения ему, — сказала мисс Бордеро, и в ее неиссякаемой способности на все находить ответ мне почудилось что-то беспощадное. Прожженный старый циник, которого ничем не тронешь и ничем не смутишь, — вот кем она показала мне в эту минуту.

— Мы с тобой понаслышаны о том, сколько нового появилось кругом за последнее время. Все это любопытно бы посмотреть, и в твои годы — не то чтобы столь уже юные — нужно ловить случай, когда он представляется. Ты достаточно взрослая, мой друг, и можешь не бояться этого джентльмена. Полюбуйтесь вместе прославленными венецианскими закатами, — бывают еще такие закаты в Венеции? Для меня солнце закатилось уже давно. Но для меня — это еще не значит для всех. А я прекрасно обойдусь без тебя. Это только твое воображение, будто ты так нужна мне. Свозите ее на Пьяццу; красивое было когда-то место, — продолжала мисс Бордеро, обращаясь уже ко мне. — Как там забавный старый собор, надеюсь, не обрушился? Прогуляйтесь с ней мимо магазинов, пусть возьмет с собой денег, зайдет и купит, если что понравится.

Бедная мисс Тина тоже поднялась и теперь стояла перед теткой, жалкая и растерявшаяся; всякому, кто взглянул бы на эту сцену со стороны, было бы ясно, что почтенная старая дама потешается над нами обоими в полное свое удовольствие. Мисс Тина забормотала было какие-то невнятные возражения, но я поторопился сказать, что, пожелай она оказать мне честь проехаться со мной в гондоле, я приложу все старания, чтобы она не соскучилась. А если ее не прельщает мое общество, гондола с гондольером все равно к ее услугам; малый отлично знает свое дело, и на него вполне можно положиться. Мисс Тина не говорила ни да, ни нет, только, отвернувшись, смотрела в окно, словно вот-вот расплатится. Но я не отступался: мол, с одобрения мисс Бордеро, уговориться будет нетрудно. В один из ближайших дней выберем удобный для нее час и отправимся. Прежде чем откланяться, я спросил у Джулианы, смею ли я рассчитывать, что мне будет позволено как-нибудь еще навестить ее.

Она немного помедлила с ответом:

— А это такое большое удовольствие для вас?

— Больше, чем я бы мог выразить словами.

— Отдаю должное вашей учтивости. Но знаете ли вы, что это едва ли не смертельно для меня?

— Трудно поверить, видя вас сегодня куда более оживленной, куда более блестящей собеседницей, нежели при первом нашем знакомстве.

— В самом деле, тетушка, — сказала мисс Тина. — Мне кажется, вам это на пользу.

— До чего же трогательно каждый из нас печется о благе прочих, усмехнулась мисс Бордеро. — Так, по-вашему, я сегодня блестящая собеседница? Да вы просто сами не понимаете, что говорите; должно быть, вам никогда не приходилось бывать в приятном женском обществе. Что вообще вы, нынешние, знаете о хорошем обществе? — воскликнула она и, не дав мне возразить, продолжала: — Не усердствуйте в комплиментах, я ими сыта по горло. А если захотите прийти — что ж, моя дверь на запоре, но можно и постучаться

иногда.

Она кивнула мне в знак прощания, и я вышел из комнаты. Позади щелкнул дверной замок, но мисс Тина, вопреки моим ожиданиям, осталась с тетушкой. Я медленно прошел вдоль зала и у самой лестницы помешкал еще. На этот раз надежда моя оправдалась, минутой спустя я увидел знакомую фигуру.

— Превосходная мысль — о прогулке на Пьяццу, — сказал я. — Когда вам угодно будет поехать — сегодня, завтра?

Как упомянуто выше, она была смущена, но я уже замечал — и теперь снова мог в этом убедиться, — что мисс Тина, в отличие от большинства женщин, никогда не пыталась скрывать свое замешательство, убежать, прятаться; напротив, она подходила ближе, словно бы в поисках сочувствия и защиты. О чем бы она ни говорила, всегда казалось, будто она просит в чем-то помочь ей, что-то объяснить, а между тем трудно было представить себе женщину более далекую от актерства. К человеку, который был с ней добр, она тотчас же проникалась неограниченным доверием, не робела больше, и ей казалось естественной близость с таким человеком, в том невинном смысле, как она это понимала. «Сама не знаю, — сказала она мне, — что это вдруг нашло на тетушку, отчего она в одночасье так переменялась, видно, что-то задумала». Я посоветовал ей доискаться, что именно тетушка задумала, и сообщить мне; мы с ней будем есть мороженое у Флориана, и там под звуки оркестра она мне и отрапортует.

— О, не надейтесь получить такой «рапорт» в скором времени, — сказала она сокрушенно и прибавила, что ни сегодня, ни завтра этого, во всяком случае, ждать нечего. Но я уже успокоился, решив, что теперь нужно только запастись терпением; и в самом деле, недели не прошло, как в один прекрасный вечер мисс Тина уселась в мою гондолу, для какого торжественного случая я принимал еще одного гребца.

Спустя несколько минут мы выехали на Canale Grande, и мисс Тина ахнула с таким неподдельным восхищением, словно была путешественницей, только что прибывшей в Венецию. Она успела забыть, как великолепен этот водный путь и какое чувство вольности и покоя нисходит на душу, когда скользишь между мраморными дворцами и отражениями огней в воде. Скользили мы долго, и хотя моя спутница молчала, я угадывал всю полноту испытываемого ею блаженства. Она не просто радовалась, она ликовала, с нее словно спали оковы. Гондола подвигалась вперед неторопливо, и она могла вволю насладиться этим движением, вслушиваясь в мерный плеск весел; но вот звук стал более громким и как будто напевно-текучим — мы свернули в один узкий боковой канал, потом в другой; Венеция словно раскрывала нам свои тайны. На мой вопрос, давно ли она отвыкла от подобных прогулок, мисс Тина отвечала: «Ах, не знаю, очень давно, с тех пор как тетушка стала недомогать». И я — не первый уже раз почувствовал, что прожитые годы как бы сливаются для нее в тумане и стерлась черта, отделявшая их от расцвета юности мисс Бордеро. Нам следовало вернуться не слишком поздно, однако мы сделали еще порядочный giro¹⁷ прежде чем высадиться на Пьяцце. Я ни о чем не расспрашивал, намеренно не затевал разговора о ее жизни дома, о том, что мне больше всего хотелось узнать. Вместо этого я то подробнейшим образом рассказывал ей обо всем, попадавшемся нам на пути, то пускался в описания Рима и Флоренции или в общие рассуждения о пользе и прелести путешествий. Она слушала со вниманием, откинувшись на мягкие кожаные подушки, покорно следовала взглядом туда,

¹⁷ Круг (итал.)

куда я указывал, и лишь позднее я узнал, что о Флоренции она больше могла бы порассказать мне, чем я ей, так как несколько лет жила там вместе с теткой. Наконец она спросила — по-детски нетерпеливо и в то же время застенчиво: «А когда же Пьяцца? Мне так хочется посмотреть Пьяццу!» Я тотчас отдал распоряжение больше никуда не сворачивать, и мы замолчали, ожидая, когда гондола прибудет к цели. Спустя короткое время, однако, мисс Тина сама прервала молчание:

— Я уже знаю, что с тетушкой; она боится, как бы вы не уехали.

У меня захватило дух.

— С чего это ей вздумалось?

— Ей кажется, вы скучаете. Оттого-то она и переменялась к вам.

— Что же, она решила меня развлекать?

— Она не хочет, чтобы вы уезжали. Она хочет, чтобы вы оставались у нас.

— Другими словами, чтобы я продолжал платить за квартиру, — откровенно предположил я.

Мисс Тину трудно было удивить откровенностью.

— Да, вы правы; чтобы мне больше осталось.

— Сколько же именно она хочет вам оставить? — спросил я, развеселившись. — Пусть бы она назвала сумму, и я соответственно рассчитал бы сроки своего пребывания.

— О, как можно! — воскликнула мисс Тина. — Вовсе я не хочу, чтобы вы себя подобным образом связывали.

— А если мне по собственным надобностям желательно задержаться здесь подольше?

— Тогда лучше поищите себе другую квартиру.

— А что на это скажет ваша тетушка?

— Ей это не понравится. По-моему, самое правильное будет, если вы откажетесь от этих своих надобностей и совсем уедете из Венеции.

— Дорогая мисс Тина, — сказал я. — Не так-то просто мне от них отказаться!

На это она ничего не ответила, но минуту спустя снова завела разговор:

— Я, кажется, знаю, какие такие ваши надобности.

— Ничего мудреного; ведь тогда в саду я почти напрямик сказал вам, что хотел бы заручиться вашей помощью.

— Помочь вам значило бы совершить вероломство по отношению к тетушке.

— Отчего же вероломство?

— Оттого, что она никогда не согласится на то, что вам нужно. Ее уже просили, ей уже писали об этом. Она и слышать не хочет.

— Значит, у нее есть что-то ценное! — так и подскочил я.

— Все у нее есть! — устало вздохнула мисс Тина, внезапно опечалившись.

От этих слов каждая жилка во мне взыграла — ведь они были бесценным свидетельством. Я был слишком взволнован, чтобы говорить, да и гондола уже

приближалась к Пьяццетте. Сойдя на берег, я спросил у своей спутницы, что она предпочитает — пройтись вокруг площади или посидеть за столиком перед знаменитым кафе; она предоставила выбор мне, напомнив только, что у нас не так много времени. Я, однако, заверил ее, что времени с лихвой хватит и на то и на другое, и мы тронулись в длинный кружной путь под аркадами. От зрелища ярких магазинных витрин мисс Тина повеселела снова; она то и дело замедляла шаг или вовсе останавливалась, хвалила одни выставленные товары, неодобрительно отзывалась о других, спрашивала моего мнения, рассуждала о ценах. Я слушал ее рассеянно, давешние слова «Все у нее есть!» не шли у меня из головы. Но вот наконец мы подошли к кафе Флориана и, с трудом отыскав место за одним из столиков, расставленных прямо на площади, уселись. Вечер был дивный, весь город, казалось, высыпал наружу; сами стихии благоприятствовали возвращению мисс Тины в жизнь. Я видел, как глубоко она затронута, хоть и не говорит об этом, как нелегко ей справиться с обилием впечатлений. Она успела уже позабыть живую прелесть мира, и только сейчас ей открылось, как безжалостно обескровлены были ее лучшие годы. Это не вызвало в ней гнева, но легкая краска недоумения, смешанного с обидой, разлилась по ее лицу, с которого еще не сошла восхищенная улыбка. Она молчала, — должно быть, раздумывала о тех радостях жизни, что так легко ей могли достаться в удел, а теперь были бесповоротно утрачены; воспользовавшись паузой, я сказал:

— Верно ли я понял, что ваша тетушка, желая удержать меня в доме, решила время от времени допускать меня к себе?

— Она думает, изредка навещать ее будет для вас развлечением. Она готова пойти на эту уступку, лишь бы вы не уехали.

— А почему, собственно, она уверена, что ее общество представляет такой соблазн для меня?

— Не знаю, наверно, вам интересно, — простодушно отвечала мисс Тина. Вы сами так говорили.

— Точно, говорил; но вряд ли многие так считают.

— Я тоже думаю, иначе многие бы этого добивались.

— Но если ее хватило на такое соображение, — продолжал я, — то могло бы хватить и на другое: что сколь она ни интересна для меня сама по себе, должны быть какие-то особые причины, препятствующие мне поступить, как поступают другие — попросту махнуть на нее рукой. — Растерянный вид мисс Тины показывал, что она не уловила смысл этой довольно сложной фразы, поэтому я добавил: — Если вы не пересказывали ей того, о чем я вам говорил в саду, может быть, она сама догадалась?

— Не знаю — она вообще очень подозрительна.

— Не людское ли нескромное любопытство тому виной, не пытался ли кто-нибудь преследовать ее расспросами?

— Нет, нет, не в том дело, — сказала мисс Тина, с тревогой посмотрев на меня. — Сама не знаю, как объяснить; было одно происшествие в ее жизни, давным-давно — еще до того, как я родилась на свет.

— Происшествие? Что же это за происшествие такое? — спросил я так, будто мне и в голову не могло прийти, о чем речь.

— Тетушка мне никогда о нем не рассказывала. — И я не сомневался, что она говорит

правду.

Ее крайняя искренность обезоруживала меня; я бы предпочел, в данных обстоятельствах, иметь дело с человеком менее чистосердечным.

— Не думаете ли вы, что тут есть какая-то связь с имеющимися у нее письмами Асперна?

— А ведь в самом деле! — воскликнула моя собеседница, словно даже обрадованная такой догадкой. — Правда, я ни одного из них не читала.

— Ни одного? Откуда же вы знаете, что в них содержится?

— Я и не знаю, — безмятежно отвечала мисс Тина. — Я ни разу не держала их в руках. Но видела, когда она их доставала из шкатулки.

— А часто она это делает?

— Теперь — нет. А раньше часто. Она очень любила перебирать их.

— Хоть там, возможно, есть кое-что компрометирующее?

— Компрометирующее? — Мисс Тина повторила это слово так, точно но очень ясно представляла его значение. Я почувствовал себя чуть ли не растлителем чистой души.

— Я хочу сказать — пробуждающее неприятные воспоминания.

— О, я уверена, что ничего неприятного там нет. — Ничего, что порочило бы ее репутацию?

Совсем новое, особенное выражение появилось в лице племянницы мисс Бордеро — она словно бы признавала, что не в силах противостоять мне, и взывала к моей порядочности и моему великодушию. Я привез ее на Пьяццу, заворожил множеством красот, выказал ей внимание, за которое она от души благодарна, — а теперь, оказывается, это все было просто попыткой подкупить ее, заставить в чем-то пойти против тетки. Она по натуре податлива и готова все сделать для человека, который был так добр к ней, но я лучше всего докажу свою доброту, если не потребую слишком многого взамен. Впоследствии я часто думал о том, что почему-то она нимало не рассердилась на меня за не слишком уважительное отношение к репутации мисс Бордеро — хоть сам я счел бы, что это не по-джентльменски, не будь на карту поставлено кое-что столь бесценное — для меня, по крайней мере. Должно быть, она просто не поняла.

— Вы предполагаете, она сделала что-то дурное? — спросила она немного погодя.

— Упаси меня бог от таких предположений, да и не мое это дело. К тому же, — поспешил я любезно добавить, — если и было что-либо подобное, то ведь случилось оно в другую эпоху, в другом мире. Вот только почему она не уничтожила эти письма?

— Что вы, она так дорожит ими.

— Даже сейчас, зная, что ее жизнь идет к концу?

— Может быть, когда она почувствует, что конец уже близок, она уничтожит их.

— Послушайте, мисс Тина, — сказал я, — вот я бы и хотел, чтобы вы этому помешали.

— Как же я могу помешать?

— Не могли бы вы взять у нее эти письма?

— И отдать вам?

Эти обнажающие суть дела слова нетрудно было принять за издевку, но я уверен, что у мисс Тины и в мыслях не было ничего подобного.

— Хотя бы для того, чтобы я мог просмотреть их. Поймите, не мне лично они нужны и я вовсе не хочу заполучить их ценою ущерба для кого-либо другого. Просто это было бы таким подарком читателям, таким неопенимым дополнением к биографии Джеффри Асперна.

Она, как всегда, слушала с таким видом, будто все мои разглагольствования касались предметов, совершенно ей прежде незнакомых; и я почувствовал себя ничем не лучше газетного репортера, норовящего пролезть в дом, где кто-то умер. Чувство это еще усилилось, когда она сказала:

— Один господин недавно писал к ней почти теми же словами. Он тоже хотел получить письма.

— И она ответила? — спросил я, слегка пристыженный мыслью, что Камнор действовал куда более честно.

— Только после второго или третьего его обращения. Она очень рассердилась.

— Что же она ему написала?

— Она его назвала чертом, — не задумываясь, ответила мисс Тина.

— Прямо так и выразилась на бумаге?

— Не на бумаге, а в разговоре со мною. А ответ писала я по ее приказанию.

— И что же вы написали?

— Написала, что никаких писем у нее нет.

— Ах он бедняга! — сочувственно вздохнул я.

— Я знаю, что есть, но написала так, как она велела.

— Разумеется, вы и не могли поступить иначе. Но я надеюсь, что меня не назовут чертом.

— Смотря по тому, что вам от меня понадобится, — улыбнулась моя собеседница.

— Ох, если я от вас рискую заслужить такое название, значит, дела мои плохи! Но я ведь не прошу вас красть ради меня, не прошу даже лгать — все равно этого вы не умеете, разве только на бумаге. Мне важно одно — чтобы вы не дали ей уничтожить письма.

— Но что я тут могу сделать, — возразила мисс Тина. — Ведь я ей повинуюсь, а не она мне.

— Зато собственные руки и ноги ей не повинуются. Единственный доступный ей способ уничтожить письма — это их сжечь. Но, чтобы сжечь, нужен огонь, а как ей добыть огня, если вы не принесете?

— Я не смею ослушаться ее приказаний, — сетовала бедняжка. — И потом есть ведь еще Олимпия.

Я хотел было заметить, что Олимпию нетрудно подкупить, но счел за благо не произносить это слово и выразился более осторожно: дескать, с девчонкой можно справиться.

— Тетушка с кем угодно справится, — сказала мисс Тина. И вдруг заторопилась домой, уверяя, что отпущенный срок миновал. Но я удержал ее, накрыв своей рукой ее руку, лежавшую на столе.

— Обещайте хотя бы, что вы постараетесь мне помочь.

— Да как же я могу, как я могу это сделать? — твердила она, сбита с толку и расстроенная. Ее и удивило и испугало, что ей отводят такую значительную роль в чьих-то замыслах, что от нее требуют действия.

— Вот главное: вы должны зорко следить за тетужкой и предупредить меня, прежде чем кощунственное преступление будет совершено.

— А как мне следить в те часы, когда я отлучаюсь из дому по ее же настоянию?

— Да, в самом деле.

— Кстати, и по вашему настоянию тоже.

— Силы небесные! Уж не затеяла ли она что-то именно сегодня?

— Не знаю. Она очень хитрая.

— Вы нарочно пугаете меня? — спросил я.

Вместо ответа моя собеседница промолвила тихо, и словно бы даже с завистью:

— Она так дорожит ими, так дорожит!

Эта мысль, столь выразительно высказанная вслух, несколько успокоила меня, и, желая еще глотнуть целительного бальзама, я сказал:

— Если у нее нет намерения уничтожить перед смертью бумаги, о которых мы говорим, она, вероятно, распорядилась ими в своем завещании.

— Завещании?

— Разве она не сделала завещания в вашу пользу?

— Ей почти нечего завещать. Оттого-то она и гонится так за деньгами, — сказала мисс Тина.

— Коль скоро уж о том зашла речь, позвольте мне спросить — на какие средства вы с ней живете?

— На деньги, которые приходят из Америки; какой-то господин — должно быть, стряпчий — посылает их из Нью-Йорка каждые три месяца. Только это очень немного!

— Но должна же была она распорядиться этими деньгами на случай своей смерти?

Мисс Тина замялась, — от меня не укрылось, что она покраснела.

— Кажется, они мои, — сказала она, и весь вид ее в эту минуту так ясно выдавал отсутствие у нее привычки думать о себе, что она показалась мне почти хорошенькой. — Но однажды, что было довольно давно, тетужка посылала за местным *avvocato*. И еще какие-то люди приходили тогда сюда и подписывали что-то.

— Вероятно, это были свидетели. А вас не просили подписывать? Вот видите, — оживленно заговорил я в приливе надежды, — стало быть, вы наследница. Она завещала письма вам!

— Если она и сделала это, то с очень жесткими оговорками, — ответила мисс Тина,

быстро встав из-за стола, и порывистость этого движения придала необычную энергию ее словам. Она как бы предупреждала меня, что наверняка завещательница потребовала, чтобы завещанное тщательно оберегалось от чужих любопытных глаз, и уж кто-кто, а она, мисс Тина, не отступит ни в чем от воли покойной, так что лучше мне на это и не рассчитывать.

— Разумеется, вам придется считаться со всеми ее условиями, — заметил я; и она ничем не попыталась смягчить суровость вывода, который я должен был из этого сделать для себя. Однако же позднее, когда мы, промолчав почти всю обратную дорогу, ступили на узкий тротуар перед домом, она неожиданно сказала: «Что могу, я сделаю, чтобы помочь вам». Ну что ж, подумал я, спасибо и на том; но среди ночи я проснулся, и заснуть снова мне не давала тревожная мысль: а ведь мисс Тина подкрепила давно сложившееся у меня убеждение, что старуха коварна, как бес.

VII

Мысль о том, не натворила ли уже старуха бед, побуждаемая этим свойством собственного характера, несколько дней не давала мне покоя. Я ждал вестей от мисс Тины, которую считал чуть ли не обязанной осведомлять меня обо всем, и в первую очередь — о том, действительно ли мисс Бордеро возложила свои сокровища на жертвенный алтарь. Но мисс Тина молчала, а терпеть дольше не было сил, и тогда я решил самолично проверить свои опасения. В один прекрасный день, после сиесты, я послал слугу справиться, не позволено ли мне будет нанести дамам визит, и посланный вернулся с неожиданным ответом: нет ничего проще, так как мисс Бордеро находится в sala, куда по ее приказанию выкатили кресло и поставили у окна, выходящего в сад. Я поспешно спустился вниз и нашел, что все именно так и обстоит: старуха перебралась через порог, столь долго отделявший ее от внешнего мира, и, казалось, была готова вступить с этим миром в соприкосновение — о чем, в частности, говорили какие-то мелочи, чуть смягчавшие обычную суровость ее одежды. Правда, нашествия извне пока не произошло; она сидела совершенно одна, и даже мисс Тины нигде на было видно, ни в sala, ни в смежной гостиной, двери которой были распахнуты настежь. Окно, у которого стояло кресло мисс Бордеро, в это время дня оставалось в тени, и в просвет между полураскрытыми ставнями она могла любоваться садом, где многое, впрочем, уже посохло от летнего солнца; могла смотреть, как ярко-желтые полосы света перемежаются с вытянутыми тенями.

— Вы, верно, пришли сказать, что желаете оставить за собой комнаты еще на полгода? — спросила старуха, когда я подошел; и что-то вульгарное в ее неприкрытой алчности заставило меня внутренне содрогнуться, как если бы я не имел случая повидать образчик раньше. Здесь упоминалось уже, что стремление Джулианы извлечь выгоду из нашего знакомства, точно фальшивая нота, искажало сложившийся у меня образ женщины, которая вдохновила великого поэта на бессмертные строки, — но должен оговориться: одно обстоятельство в значительной мере ее оправдывало, — ведь кто, как не я сам, разжег это адское пламя, кто, как не я, навел ее на мысль о средстве наживы, имеющемся у нее в руках. До меня ей это и в голову не приходило; много лет она прожила в доме, на три четверти пустовавшем без всякой пользы; объяснить это можно лишь тем, что огромное помещение не стоило ей почти ничего и что, сколь ни скудны были ее доходы, в Венеции они все же позволяли сводить концы с концами. Но вот явился я и преподал ей урок расчетливости, да еще разыграл дорогостоящую комедию с садом — как тут было не соблазниться добычей, которая сама шла в руки. Подобно всем, кому на склоне лет доведется узреть свет новой

истины, она сразу же стала фанатиком и мертвой хваткой вцепилась в возможность, о которой я только намекал.

У дальней стены стояло несколько стульев; не дожидаясь приглашения, старуху явно не заботило, буду я сидеть или стоять, — я взял один, перенес поближе и сел, после чего начал веселым тоном:

— О, сударыня, какое живое у вас воображение, какой полет мысли! Ведь я — всего лишь бедный литератор, зарабатывающий себе на жизнь каждодневным трудом. Где уж мне снимать дворцы на столь долгий срок. Существование мое не обеспечено. Полгода! Да будет ли у меня через полгода кусок хлеба? Я позволил себе непомерную роскошь — но это один раз. А на длительное время...

— Вы находите, что занимаемые вами комнаты стоят слишком дорого? — перебила Джулиана. — Ну что ж, можете прибавить к ним еще несколько за ту же плату. Нам нетрудно будет стовориться — *combinare*, как говорят итальянцы.

— Если уж на то пошло, сударыня, они действительно стоят слишком дорого, неслыханно дорого, — сказал я. — Вы, видно, считаете меня богачом, а я далеко не богач.

Она словно глянула на меня из устья пещеры.

— Но ведь вы же продаете написанные вами книги.

— Ведь люди же покупают их, хотите вы сказать. Да, покупают, но не так уж много, куда меньше, чем мне хотелось бы. Писание книг — самый неверный путь к богатству. Он годен разве только для гениев — и то не всегда. В наше время литературой состояния не наживешь.

— Может быть, вы неудачно выбираете сюжеты? О чем вы вообще пишете? — не желала сдаваться мисс Бордеро.

— О книгах, сочиненных другими. Я — критик, комментатор, отчасти историк. — Любопытно было, к чему она клонит.

— Кто же эти другие?

— О, те, до кого мне далеко: великие умы прошлого — философы, писатели, поэты, которые давно лежат в могиле и не могут, бедняги, сами рассказать о себе.

— Что же вы о них пишете?

— Рассказываю, например, про то, каким умным женщинам они иногда дарили свою привязанность! — шутливо ответил я. Это был риск, вроде бы достаточно хорошо обдуманый; однако, когда я сам услышал свои слова, они показались мне неосторожными. Но сказанного не воротишь, да в конце концов я и не раскаивался; быть может, старуха все же пойдет на сделку. Вполне вероятно, что ей известен мой секрет; так стоит ли по-пустому тянуть время? Но она не захотела принять мою шутку как признание и только спросила:

— А так ли это похвально — ворошить прошлое?

— Я не совсем понимаю, что вы хотите сказать. Без некоторых усилий до прошлого не докопаешься. Слишком уж оно бесцеремонно затоптано настоящим.

— О, я люблю прошлое, но не люблю критиков, — объявила хозяйка дома с обычной самоуверенностью.

— Я и сам их не люблю, но ценю их открытия.

— Да ведь это все больше выдумки.

— Точней, им порой удается разоблачить выдумки, — сказал я, невольно улыбнувшись безмятежной дерзости моей собеседницы. — И довести правду до общего сведения.

— Один бог знает правду, людям не дано ее знать; и не их дело до нее доискиваться. Не нам судить о том, что правда, а что — нет.

— Да, мы бродим в потемках, — согласился я, — но если отказаться от поисков света, что станет со всем, что есть в мире прекрасного, что будет с творениями тех, о ком я только что говорил, — великих философов и поэтов? Они обратятся в пустой звук, если у нас не будет для них должной меры.

— Что за портновский язык, — капризно сказала мисс Бордеро и тут же поспешила заговорить совсем другим тоном: — Не правда ли, это прекрасный дом? Он построен с удивительным чувством пропорций. У меня сегодня явилось желание взглянуть на эту его часть, где я давно не бывала. Вот я и приказала вывезти меня сюда. Когда пришел ваш человек с просьбой принять вас, я только что сама собиралась за вами послать, чтобы справиться, не желаете ли вы прожить здесь подольше. И мне хотелось полюбоваться тем, что я предоставляю в ваше распоряжение. Эта зала великолепна, — продолжала она тоном аукциониста; мне даже представилось, что при этом она повела вокруг скрытыми от меня глазами. — Едва ли вам часто приходилось жить в таком доме, а?

— Часто это было бы мне не по карману!

— Ну, а сколько вы согласны уплатить за полгода? Я едва не воскликнул: «Джулиана, не надо — ради него не надо!» — и страдальческая гримаса, явись она на моем лице, отвечала бы истинным моим чувствам. Но я овладел собой и спросил не столь страстно:

— А что мне тут делать так долго?

— Я думала, вам приятно тут жить, — сказала мисс Бордеро с высоты своего ссохшегося достоинства.

— Я и сам ожидал, что мне будет приятно.

На это она ничего не ответила, и я тоже молчал, предоставив ей толковать мои слова как угодно. Но при этом я был почти уверен: вот сейчас она довольно холодно скажет мне, что раз мои ожидания не оправдались, значит, больше и говорить не о чем, — а между тем я уже не сомневался в том, что так или иначе ей стали известны обстоятельства, зная которые не трудно бы отгадать причину моего разочарования. Однако, к большому своему удивлению, я вдруг услышал совсем другое:

— Если вам кажется, что вы недостаточно хорошо устроены у нас, может быть, мы найдем способ устроить вас лучше?

Я даже рассмеялся, до того это было ни с чем не сообразно, и в оправдание себе заметил, что она разговаривает со мной, точно с маленьким мальчиком, который раскапризничался и теперь без поблажки его не унять. Мне решительно не на что жаловаться, продолжал я; разве не величайшей любезностью со стороны мисс Тины было провести со мной вечер на Пьяцце всего лишь несколько дней назад? «Сами вы напросились!» — проворчала старуха. И тут же, совсем другим тоном: «Она — прекрасная девушка». Я поспешил согласиться, и она выразила надежду, что я говорю искренне, а не просто из желания быть галантным. Я все меньше и меньше понимал, к чему клонит мисс

Бордеро, а она меж тем продолжала: «У нее нет никого на свете, кроме меня, покуда я жива еще». Уж не для того ли она хвалила свою племянницу и подчеркивала отсутствие у нее родни, что хотела представить ее завидной «партией»?

Я сказал старухе чистую правду: платить дальше столь баснословную сумму за комнаты мне было не по карману — я и так уже израсходовал на свое предприятие почти всю предназначенную для этого наличность. Терпения и времени у меня оставалось достаточно, но деньги я мог тратить впредь, лишь исходя из обычных венецианских цен. При всем моем интересе к незаурядной особе, с которой меня грозили поссорить денежные расчеты, я готов был платить ей в два раза больше того, что спросила бы с меня любая другая *padrona di casa*;¹⁸ но в двадцать раз больше я платить не собирался. Так я ей откровенно и сказал, и моя откровенность возымела действие — ибо в ответ я услышал: «Вот и прекрасно, вы сделали то, о чем я вас просила: назначили свою цену!»

— Да, но за полгода я платить не буду. Только помесечно.

— В таком случае я должна еще подумать. — Она явно была раздосадована моим нежеланием связывать себя определенным сроком, и я чувствовал, что ей хочется и поманить меня и пугнуть, что она бы охотно сказала: «Напрасно вы надеетесь управиться меньше чем за полгода. Напрасно надеетесь даже к концу этого срока оказаться намного ближе к цели». А больше всего я опасался, не норовит ли она обманом склонить меня к согласию, тогда как сокровище уже уничтожено. В какой-то миг моя тревога достигла такой остроты, что я чуть не спросил напрямик, и удержал меня лишь инстинктивный страх разоблачить себя до конца, — а вдруг я все-таки ошибаюсь? С этой хитрющей старой ведьмой ничего нельзя знать наверняка. Решите сами, рассеялись ли мои сомнения, когда сразу же после слов о том, что ей нужно подумать, и без всякого видимого перехода она нетвердой рукой вытащила из кармана какой-то небольшой предмет, завернутый в мятую белую бумагу, и, подержав его на весу минуту или две, спросила: — Вы что-нибудь понимаете в редкостях?

— В редкостях?

— Ну да, в антикварных вещах, в старинных безделках, за которые теперь платят так дорого. Могли бы вы определить примерную цену такой вещи?

Я уже догадывался, что сейчас произойдет, но самым невинным тоном переспросил:

— А вы что-то хотите купить?

— Нет, я хочу продать. Сколько могут дать вот за это? — Она развернула бумагу и протянула мне небольшой овальный портрет. Я взял его, думая об одном: только бы мои пальцы не задрожали, выдавая силу, с которой они в него вцепились, а мисс Бордеро меж тем добавила: — Задешево я с ним не расстанусь.

Я с первого взгляда узнал Джеффри Асперна и почувствовал, что кровь прилила к моему лицу. Но старуха следила за мной, и у меня достало благоразумия воскликнуть:

— Какое удивительное лицо! Сделайте милость, скажите мне, кто это!

— Старый мой друг, человек, весьма известный при жизни. Он сам подарил мне этот портрет, но я не решаюсь назвать его имя, ведь может оказаться, что вам, хоть вы и критик и историк, оно неизвестно. Жизнь движется быстро, и новое поколение уже не помнит

¹⁸ Домовладелица (шал.)

предшествующих. А в дни моей молодости это имя было у всех на устах.

Возможно, она втайне дивилась моему самообладанию, меня же ее выдержка просто потрясла; в ее годы, при ее здоровье затеять со мной такую игру единственно для развлечения, найти в себе охоту и силу дразнить меня, испытывать и дурачить. Ибо лишь так я мог себе объяснить эту выходку с портретом, ни минуты не веря, что она и в самом деле хочет его продать или ждет от меня полезного совета. О нет, просто ей вздумалось помахать у меня перед носом этой приманкой, а потом назначить несусветную цену.

— Мне знакомо это лицо, но я никак не вспомню, кто это, — сказал я, поворачивая портрет и так и эдак и рассматривая его с видом знатока. Это был хоть и не шедевр, но образец тщательной работы, миниатюра размером чуть побольше обычной. На ней был изображен очень красивый молодой человек в зеленом сюртуке с высоким воротом и темно-желтом жилете. Я чутьем угадывал большое сходство с оригиналом, которому в пору написания портрета было, должно быть, лет двадцать пять. До сих пор известны были всего три сохранившихся портрета Асперна, но ни на одном из них поэт не был изображен во всем блеске молодости. — Едва ли мне довелось знать оригинал, который, судя по всему, принадлежал к прошедшей эпохе, но я видел другие изображения этого же лица, — продолжал я. — Вы усумнились, слышало ли нынешнее поколение его имя, однако я почти убежден, что передо мной одна из знаменитостей своего времени. Но кто же именно? Попаду ли я в точку, если скажу, что это был человек пишущий? Да, несомненно, он поэт. — Я твердо решил, что заставлю ее первой назвать вслух имя Джеффри Асперна.

Но я не принял во внимание твердость характера мисс Бордеро; мне так ни разу и не случилось увидеть, как эти морщинистые губы складываются для произнесения дорогих сердцу звуков. Мой вопрос она попросту пропустила мимо ушей, а вместо ответа протянула руку за миниатюрой, и жест этой немощной, старческой руки был исполнен непреклонной властности. «Только тот, кто без подсказки узнает оригинал, может дать настоящую цену», — сказала она довольно сухо.

— Стало быть, цена вами уже назначена? — Я все еще не отдавал портрета: не из мстительного желания, и свою очередь, поддразнить ее, а просто потому, что не мог принудить разжаться свои пальцы. Несколько мгновений мы смотрели друг на друга не шевелясь.

— Я определила для себя самую низкую цену, дешевле которой не продам, но от вас хотела услышать самую высокую, на какую можно рассчитывать.

Она вдруг вся подобралась, как будто страх, что ей могут не вернуть ее сокровища, придал ей силы и она сейчас встанет и выхватит его у меня. Видя это, я поторопился вложить портрет ей в руку со словами:

— Я бы и сам охотно купил, но боюсь, что любая ваша цена будет для меня недоступна.

Она положила миниатюру на колени лицом вниз и шумно перевела дух, будто долго несла тяжелую ношу или же бежала со всех ног. Но это не помешало ей через минуту сказать:

— Вы купили бы портрет неизвестного человека, писанный безвестным художником?

— Художник, может быть, и безвестен, но работа его превосходна, ответил я, чтобы объяснить выказанный интерес.

— Рада, что вы так считаете: этот художник — мой отец.

— В таком случае портрет ценен вдвойне, — весело ответил я, обрадованный, что таким образом подтвердилась моя версия о происхождении мисс Бордеро. Асперн наверняка познакомился с нею, когда приходил в мастерскую позировать ее отцу. Я предложил ей доверить мне миниатюру на одни сутки, до завтра, чтобы я мог посоветоваться со сведущими людьми и выяснить вопрос о цене; но она только молча спрятала ее в карман. Это послужило мне лишним доказательством, что она и не собиралась при жизни расставаться со своим сокровищем, верно, только хотела узнать, что может выручить за него племянница, которой оно достанется в наследство.

— Но я хотел бы надеяться, что вы не распорядитесь этой вещицей без моего ведома, — сказал я, так и не дождавшись ответа. — Прошу вас все же считать меня возможным покупателем.

— Деньги на стол — вот тогда и разговор будет! — неожиданно грубо отрезала она; потом, словно спохватясь, что подобный тон может и вовсе меня оттолкнуть, круто переменяла тему — спросила, о чем я беседую с ее племянницей во время наших вечерних прогулок.

— Можно подумать, мы так уж часто прогуливаемся по вечерам, — возразил я. — Мне, разумеется, было бы только приятно, если бы это вошло у нас в обыкновение. Но в таком случае я был бы еще менее склонен обмануть доверие, оказанное мне дамой.

— Доверие? Разве моя племянница умеет доверять людям?

— А вот и она — пусть сама ответит на этот вопрос, — сказал я, увидя мисс Тину, показавшуюся в дверях тетушкиных покоев. — Мисс Тина, умеете вы доверять людям? Вашей тетушке очень любопытно это знать.

— Ей, во всяком случае, доверять нельзя, — отозвалась та, грустно покачав головой, и было видно, что она не шутит и не притворяется. — Она у меня совсем от рук отбилась — найдет на нее стих, так она и думать забывает об осторожности. С ее-то силами странствовать по дому, переезжать из комнаты в комнату! — И она посмотрела на ту, с кем столько лет тащилась в одном ярме, растерянно-недоумевающим взглядом, хотя, казалось бы, привычка и давняя близость должны были приучить ее к любым причудам старухи.

— Я отлично знаю, что делаю. И не считай, что я выжила из ума, хотя тебе, наверно, приятно было бы так думать, — с цинической бесцеремонностью сказала мисс Бордеро.

— Но ведь вы не сами собой очутились здесь. Мисс Тина, должно быть, и помогала вам, — вступился я в качестве миротворца.

— Ей непременно захотелось, чтобы мы выкатили сюда ее кресло, а уж если ей чего захочется... — укоризненно, как и прежде, возразила мисс Тина, словно намекая, что тетушка и не того еще может от нее потребовать.

— Я, слава богу, почти всегда получала то, чего хотела! Люди, среди которых я жила, охотно ублажали меня, — из-под пепла бывшего тщеславия вымолвила старуха.

Я живо подхватил:

— Повиновались вам, хотите вы сказать.

— Не все ли равно — если это из любви.

— Вот я вас люблю, оттого и пытаюсь противиться, — с нервным смешком сказала мисс Тина.

— Надеюсь, следующий раз вы из любви к тетушке привезете ее ко мне в гости, — сказал я с улыбкой; но старуха возразила:

— Зачем же, я и отсюда отлично могу наблюдать за вами.

— Довольно вам утомлять себя, ведь разболеетесь к вечеру! — взмолилась мисс Тина.

— Вздор, моя милая, я давно уже себя так хорошо не чувствовала. Завтра ты меня снова привезешь сюда. Я хочу находиться там, где мне удобно смотреть на этого остроумного господина.

— Но разве в вашей гостиной будет не так же удобно? — рискнул я заметить.

— Вам, пожалуй, даже удобнее было бы, — отозвалась она, нацелив на меня свой зеленый козырек.

— Мне везде одинаково неудобно! Я смотрю на вас, но ведь я вас не вижу.

— Зачем вы ее так будоражите, ведь ей это вредно, — сказала мне мисс Тина с упреком.

— А я хочу понаблюдать за вами, я хочу понаблюдать за вами! — не унималась мисс Бордеро.

— Что ж, надо нам больше времени проводить вместе, а где — это в конце концов безразлично. Тогда вам легко будет осуществить ваше желание.

— Ну, на сегодня, пожалуй, довольно. Я уже сыта вашим обществом. Теперь я хочу домой, — сказала Джулиана.

Мисс Тина положила руки на спинку кресла и приготовилась толкать его, но я попросил, чтобы она уступила мне свое место.

— Что ж, везите, коли есть охота — но только туда, куда угодно мне! — сказала старуха, чувствуя, как плавно и легко покатилося кресло по гладким отполированным плитам. Немного не доехав до своей двери, она велела остановиться и долгим прощальным взглядом обвела величественную sala. — Какой прекрасный дом! — проговорила она вполголоса, и я покатию кресло дальше.

Когда мы очутились в гостиной, мисс Тина знаками дала мне понять, что моя помощь больше не требуется, и тотчас же навстречу своей госпоже выбежала откуда-то рыженькая donna.¹⁹ Мисс Тине, как видно, хотелось поскорей уложить тетушку в постель. Но я, каюсь, не спешил уходить, хоть и понимал неделикатность своего поведения, слишком уж волновало меня сознание, что вожделенная добыча где-то совсем близко — быть может, именно в этой неудобной комнате. Правда, ничто в ее скудном убранстве не наводило на мысль о скрытых сокровищах; здесь не было ни потайных уголков, ни стальных ниш, завешенных тяжелыми драпировками, ни кованых ларцов, ни сундуков с железными скрепами. К тому же естественней было предположить, что старуха хранит свои реликвии в спальне, в потрепанном бауле, задвинутом под кровать, или в ящике колченогого туалетного столика, куда достает тусклый свет ночника. И все-таки я ощупывал взглядом всю мебель, все стоявшие или висевшие предметы, где можно было бы что-то спрятать, всего пытливей присматриваясь к тем, в которых имелись ящики; особенно мое внимание привлек высокий старый секретер с бронзовыми украшениями в стиле ампира — шаткое, но вполне пригодное

¹⁹ Служанка (итал.)

вместилище для тайных кладов. Сам не знаю, почему я так пристально на него смотрел, право же, у меня не было никакого намерения его взламывать, но в конце концов мисс Тина заметила мой взгляд — и по тому, как она переменилась в лице, я понял, что не ошибся. Где бы ни хранились ранее письма Асперна, сейчас они лежали там, в секретере, под охраной вделанного в него затейливого замочка. Нелегко мне было отвести глаза от пожухлой дверцы, зная, что одна только эта доска красного дерева отделяет меня от предмета моих мечтаний, но я собрал все свое поколебленное благоразумие и заставил себя распрощаться с хозяйкой дома. Чтобы прощание вышло более учтивым, я сказал мисс Бордеро, что непременно узнаю мнение знатоков о возможной цене овальной миниатюры.

— Овальной миниатюры? — изумленно переспросила мисс Тина.

— Тебя это не касается, моя милая, — отрезала старуха. — А вы, сударь, не трудитесь. Я уже назначила цену, и от нее не отступлюсь.

— Какова же она, позвольте узнать?

— Тысяча фунтов.

— Боже милостивый! — не удержалась бедная мисс Тина.

— Не об этом ли вы беседуете по вечерам? — спросила мисс Бордеро.

— Подумать только — вашей тетушке любопытно, о чем мы беседуем, сказал я и на том расстался с мисс Тиной, хоть мне нестерпимо хотелось добавить: «Ради всего святого, выйдите вечером в сад».

VIII

События показали, однако, что моя осторожность была излишней; и трех часов не прошло, как в распахнутых дверях комнаты, которая мне служила столовой и где я в это время доедал свой скромный обед, без всякого предупреждения появилась мисс Тина. Хорошо помню, что я ничуть не удивился при виде ее, и отнюдь не потому, что считал чем-то напускным ее обычную робость. Нет, просто я всегда знал: как она ни робка от природы, это не помешает ей в критическую минуту найти в себе мужество прибежать сюда, наверх. А что такая критическая минута наступила, нетрудно было понять по тому, как отчаянно она ко мне бросилась, когда я встал ей на встречу, и как судорожно вцепилась в мой рукав.

— Тетушке очень плохо; мне кажется, она умирает.

— Этого быть не может, — ответил я с мрачноватой усмешкой. — Она еще нас с вами переживет.

— Умоляю вас, сходите за доктором, умоляю вас! Я послала Олимпию к тому, который всегда пользуется тетушкой, но ее все нет и нет; не знаю, куда она девалась. Я ей наказывала: если не застанешь доктора дома, узнай, куда он отправился, и разыщи его; вот она, видно, и бегаёт за ним по всей Венеции. Не знаю, что делать, — тетушке с каждой минутой хуже.

— Позвольте мне взглянуть, чтобы я мог судить о ее состоянии, предложил я. — Можете не сомневаться в моей готовности помочь; но не будет ли разумнее, если за врачом мы отправим моего человека, а сам я останусь с вами?

Мисс Тина согласилась, и я, кликнув слугу, велел ему сыскать лучшего врача в округе и немедленно привести сюда. Сам же я поспешил за мисс Тиной вниз. По дороге она рассказала мне, что вскоре после моего ухода у мисс Бордеро сделался сильнейший приступ удушья, «стеснения в груди», как она выразилась. Потом ее немного отпустило, но она до того ослабела, что никак не придет в себя; посмотреть на нее, так она вот-вот кончится, если уже не кончилась. Я снова сказал, что этого не может быть, что ей еще далеко до конца, и тут мисс Тина, искоса глянув на меня так пронзительно, как ей еще никогда не случалось глядеть, вымолвила: «Вы что же этим хотите сказать? Уж не в притворстве ли обвиняете тетушку?» Не помню, что я ей отвечал, но готов признаться: в глубине души я искренне считал старуху способной на любую каверзу. Мисс Тина стала допытываться, что произошло между нами; тетушка сама сказала, что я ее очень рассердил. Я ответил, что ни в чем таком неповинен — напротив, был в высшей степени деликатен и осмотрителен, но моя спутница снова сослалась на слова тетушки, будто у нас вышла бурная сцена, которая ее сильно взволновала. Ну уж если на то пошло, возразил я, задетый за живое, так это не я, а она устроила сцену, и чем я ее рассердил, ума не приложу, разве что своим отказом заплатить тысячу фунтов за портрет Джеффри Асперна. «Так она вам показывала портрет? О, боже правый, о я несчастная!» простонала мисс Тина; бедняжка, видно, почувствовала, что уже не в силах что-либо изменить и что собственная ее судьба теперь целиком зависит от разгулявшихся стихий. Я добавил, что охотно отдал бы за этот портрет все, что у меня есть, но тысячи фунтов у меня нет; тут, однако, разговор окончился, так как мы подошли к дверям мисс Бордеро. Мне до смерти хотелось войти, но я почел своим долгом заметить мисс Тине, что, коль скоро я вызвал у больной столь бурное раздражение, мне, быть может, не следует показываться ей на глаза. «Показываться ей на глаза? А вы думаете, она увидит вас?» воскликнула моя спутница чуть ли не с негодованием. Я и в самом деле так думал, но поостерегся сказать об этом вслух и молча последовал за мисс Тиной в комнаты.

Помню, постояв минуту-другую у кровати, на которой лежала старуха, я спросил у ее племянницы: «Неужели она и от вас всегда прячет свои глаза? Неужели вы так никогда и не видели их?» Мисс Бордеро была на этот раз без зеленого козырька, но не следует думать, что мне посчастливилось лицезреть Джулиану в ночном чепце: верхнюю часть ее лица скрывал кусок грязноватого тюля или кружева, повязанный вокруг головы наподобие капюшона, который доходил спереди до кончика носа, оставляя открытыми только бледные морщинистые щеки да сборчатые, плотно, словно бы намеренным усилием сжатые губы. Мисс Тина глянула на меня с недоуменном, явно не понимая, чем вызвана моя досада.

— Вы о том, что она всегда чем-нибудь покрывает глаза? Просто она бережет их.

— Бойтся за их красоту?

— Какая уж красота теперь! — Мисс Тина покачала головой и еще понизила голос. — Но когда-то они в самом деле были прекрасны.

— Как же, мы имеем свидетельство Асперна на этот счет. — Я еще раз посмотрел на закутанное лицо старухи, и мне пришло в голову, что, быть может, она права, не желая, чтобы кто-либо имел повод обвинить знаменитого поэта в преувеличении. Но тут же я решил, что не стоит больше тратить внимание на Джулиану, — она едва дышала, и уже не во власти человеческой было помочь ей. Я отвел глаза и снова стал обшаривать ими комнату, не пропуская ни одного шкафа, комода или стола с ящиками. Мисс Тина перехватила мой взгляд и, наверно, разгадала его значение; но откликнуться не захотела и отвернулась движением, полным тревоги и гнева. Почувствовав ее безмолвный упрек, я на миг устыдился своего нетерпения, столь непристойного в присутствии умирающей, но тут же вновь

вернулся к прерванному занятию, стараясь мысленно наметить вместилище, с которого следовало бы начать свои поиски человеку, вздумавшему наложить руку на реликвии мисс Бордеро, как только она испустит последний вздох. Беспорядок царил кругом ужасающий, комната напоминала уборную престарелой актрисы. На спинках кресел висели платья, там и сям валялись потрепанные свертки непонятного вида, во всех углах громоздились груды коробок и картонок, набитых невесть чем, помятых, выцветших, стоявших тут с полсотни лет, а то и больше. Мисс Тина, оглянувшись, снова поймала мой взгляд и, словно бы прочтя в нем осуждение будто я имел право судить или осуждать! — сказала, как бы для того чтобы отклонить возможное подозрение, что и она причастна к этому беспорядку.

— Ей так правится, она не позволяет ничего трогать или переставлять. С некоторыми из этих картонок она не расстанется всю свою жизнь, — потом добавила, наполовину из жалости, ведь мои истинные чувства не составляли для нее тайны: — То прежде хранилось вот здесь. — И она указала на низенький деревянный сундучок, задвинутый под диван, где ему только-только хватало места. Этакое чудное допотопное изделие, крашеное-перекрашеное — даже последний слой краски, светло-зеленый, изрядно пооблупился — с затейливыми ручками и ссохшимися ремнями. Должно быть, сундучок этот немало постранствовал с Джулианой в былые времена, когда ее жизнь была полна увлекательных приключений, в которых и он принимал участие. Явиться бы с таким в современный комфортабельный отель!

— Прежде, а сейчас уже нет? — встревоженно переспросил я.

Но мисс Тине помешало ответить прибытие доктора — того самого, за которым была послана рыженькая служанка и которого ей в конце концов удалось настигнуть. Мой слуга, еще не успев исполнить данное ему поручение, повстречал эту пару — Олимпию с эскулапом на буксире — неподалеку от дома и не только поворотил назад, но, как истый венецианец, дошел вместе с ними до самого порога хозяйских апартаментов. Заметив его физиономию, выглядывавшую из-за плеча доктора, я тотчас же знаком приказал ему уйти — вид этой любопытной физиономии напомнил мне, что я и сам здесь нахожусь не по праву; неловкость моя еще усилилась, когда я поймал на себе свирепый взгляд доктора, как видно принявшего меня за более проворного конкурента. Доктор был невысокий толстенький живчик, в цилиндре, как принято у людей его профессии, успевавший интересоваться всем и всеми вокруг, кроме своего пациента. Меня он, даже и поняв свою ошибку, не выпускал из поля зрения, и столь явно был не прочь прописать и мне какое-нибудь снадобье, что я счел за благо откланяться и оставить его с женщинами одного, а сам пошел в сад выкурить сигару. Нервы мои были напряжены; я не мог уйти совсем, не мог удалиться от дома. Сам не знаю, чего я, собственно, ждал, но мне казалось, что я должен оставаться на месте. Я бродил по дорожкам в теплом сумраке надвинувшегося вечера, курил сигару за сигарой и не спускал глаз с окон мисс Бордеро. Все теперь там было по-другому, ставни были раскрыты, в комнатах горел свет. Порой свет передвигался, но плавно, неторопливо, без лихорадочной спешки, которая говорила бы о наступлении кризиса. Что же старуха — умирает или, может быть, уже умерла? Развел ли доктор руками: при таких, мол, неслыханных годах пациентки только и остается, что дать ей спокойно перейти в небытие? Или же просто чуть более церемонным тоном возвестил, что конец концов наступил? Может быть, остальные две женщины уже мечутся в подобающих случаю хлопотах? Меня томило беспокойство от того, что я не там, не с ними, словно я опасался, как бы сам доктор не утащил бумаги с собой. И тут мне снова ударило в голову, я даже закусил зубами сигару — а что, если бумаг уже вообще нет?

Так прошло больше часу. Я смотрел на окна в смутной надежде, что увижу мисс Тину в одном из них, что она мне подаст какой-нибудь знак. Ведь, заметив в темноте тлеющий кончик сигары, она должна понять, что я здесь и жду вестей. Ни в чем, пожалуй, своекорыстная основа моих тревог не сказалась так наглядно, как в этой бесподобной уверенности, что в решающий час, перед лицом события, которое грозило перевернуть всю ее жизнь, бедная мисс Тина не забывает и о моих заботах. Вышел в сад мой слуга, но он ничего не мог мне сообщить, кроме того, что доктор уже ушел, пробыв у больной около получаса. Из чего я умозаключил, что мисс Бордеро еще жива; для засвидетельствования смерти получаса не потребовалось бы. Я услад слугу из дому, иногда его любопытство становилось для меня непереносимым, и сейчас был один из таких случаев. Вместо мисс Тины он следил из окна за огоньком моей сигары; он не мог знать, какие мысли волнуют меня, и я не собирался посвящать его в это, но подозреваю, что у него имелись собственные фантастические теории на сей счет, которые ему казались весьма лестными для меня и которые я наверняка счел бы оскорбительными.

Я наконец решился войти в дом, но поднялся только до sala. Двери покоев мисс Бордеро были раскрыты, в глубине гостиной тускло горела одинокая свеча. Стараясь ступать неслышно, я пошел на ее свет, но в ту же минуту откуда-то появилась мисс Тина и стала, ожидая моего приближения.

— Ей лучше, ей лучше! — сказала она прежде, чем я успел спросить. Доктор дал ей какое-то лекарство; она очнулась и понемногу пришла в себя. Он сказал, что непосредственной опасности нет.

— Нет непосредственной опасности? Но ведь не может же он отрицать, что положение серьезно?

— Он и не отрицает, но это оттого, что она слишком переволновалась. Волнение всегда пагубно для нее.

— Кто ж в этом виноват, она сама себя распяляет. Вот хотя бы сегодня в разговоре со мной.

— Да, ей не следует впредь покидать свои комнаты, — сказала мисс Тина, и видно было, что ее мысли опять где-то блуждают.

— Что толку от ваших слов, — отважился я заметить, — когда по первому требованию сами вы и повезете ее, куда ей заблагорассудится.

— Не повезу, теперь больше не повезу.

— Научитесь противиться ей, давно пора, — продолжал я.

— Да, да, я непременно научусь, — тем более раз вы утверждаете, что так нужно.

— Нужно не для меня, а для вас. Вы пугаетесь и теряетесь, а потом сами же должны расплачиваться за это.

— Сейчас мне пугаться нечего, — миролюбиво отвечала мисс Тина. — Сейчас она совсем спокойна.

— А она в сознании? Говорила что-нибудь?

— Нет, говорить не говорила, но брала меня за руку. Возьмет и держит крепко-крепко.

— Да, судя по тому, как она давеча уцепилась за портрет, сил у нее еще много, —

сказал я. — Но если она держала вас за руку, как же вы очутились здесь?

Мисс Тина не сразу ответила, и хотя лицо ее было в густой тени — она стояла спиной к свече, что горела в гостиной, а свою свечу я оставил у входа в sala — мне почудилось, что она простодушно улыбается.

— Я услышала ваши шаги и вышла.

— Но я шел на цыпочках, стараясь ступать как можно тише.

— А я услышала, — сказала мисс Тина.

— И что же, ваша тетушка сейчас одна?

— Нет, как можно — с нею Олимпия.

Я думал о своем.

— Может быть, лучше войдем туда? — кивнул я в сторону гостиной; во мне все усиливалось безотчетное желание быть поближе к месту.

— Там нам нельзя будет разговаривать — она услышит. Я чуть было не ответил, что можно и помолчать, но вовремя удержался: ведь это значило бы отложить тот вопрос, который мне так не терпелось задать ей. И я предложил побродить немного по sala, держась подальше от двери больной, чтобы ее не беспокоить. Мисс Тина охотно согласилась; скоро должен опять прийти доктор, сказала она, так можно будет встретить его у самой лестницы. Мы медленно шли по мраморным плитам, и шаги наши неожиданно гулко разносились в бесполезном просторе прекрасного помещения. Когда мы, дойдя до дальнего конца, очутились у наглухо запертой стеклянной двери балкона, выходявшего на капал, я заметил мисс Тине, что лучше всего ей быть именно там, так как оттуда она сможет увидеть доктора, едва только он подъедет к дому. Я отпер дверь, и мы вышли на балкон. Над узким каналом было еще жарче, еще душнее, чем в sala. Кругом было пустынно и тихо; казалось, весь околоток погружен в мирную дрему. Там и сям мерцали огни фонарей, повторяясь в темной воде канала. По ближнему мостику шел домой одинокий гуляка, накинув куртку на плечи и заломив набок шляпу; в тишине донеслась до нас его песня. Но и это не нарушило той атмосферы *comme il faut*, о которой упоминала мисс Бордеро при первой нашей встрече. Немного спустя показалась вдали гондола, и мы насторожились, вслушиваясь в мерный плеск воды под веслом. Но это не была гондола доктора, она прошла мимо, и, когда все стихло снова, я спросил у мисс Тины:

— А где же оно теперь, — то, что лежало в сундучке?

— В каком сундучке?

— В зеленом, крашеном, который стоит под диваном в спальне. Вы сказали, что тетушка в нем держала свои бумаги; я понял так, что теперь она их переложила в другое место.

— Да, верно; в сундучке их уже нет, — сказала мисс Тина.

— Осмелюсь спросить — вы что же, смотрели?

— Смотрела, ради вас.

— Ради меня? Дорогая мисс Тина, означает ли это, что вы бы отдали их мне, если бы нашли? — Я почти дрожал, произнося эти слова.

Мне пришлось дожидаться ее ответа. Но наконец у нее вырвалось:

— Не знаю сама, как бы я поступила — отдала, не отдала!

— Но, может быть, вы хотя бы посмотрите еще где-нибудь?

Странное, непривычное волнение, с начала разговора звучавшее в ее голосе, не улеглось.

— Не могу — не могу, когда она лежит тут же. Это недостойно.

— Вы правы, это недостойно, — согласился я. — Пусть она покоится с миром, бедняжка. — И в моих словах на этот раз не было лицемерия; упрек пронял меня, и мне сделалось стыдно.

Мисс Тина добавила, словно бы чувствуя это и жалея меня, но в то же время стремясь объяснить, что я если и не прямо толкаю ее на недостойный поступок, то, во всяком случае, слишком упорно дергаю эту струну:

— Не могу я обманывать ее теперь — быть может, в ее смертный час. Нет, не могу.

— Я и не прошу вас идти на обман, избави бог, хоть сам я не без греха.

— Не без греха — вы?

— Да, я плыл под фальшивым флагом. — Меня вдруг неудержимо потянуло сказать ей всю правду, признаться, что я назвал себя вымышленным именем, опасаясь, что настоящее мое имя может быть известно мисс Бордеро и закроет мне доступ в дом. Я даже рассказал о своей причастности к тому письму за подписью Джона Камнора, которое было послано им несколько месяцев назад.

Она слушала крайне внимательно, чуть ли не раскрыв рот от изумления, и, дослушав до конца, спросила:

— А как же ваше настоящее имя? — Я сказал, и она дважды повторила его, восклицая при этом: — Господи, господи! — Потом заметила: — Оно мне нравится больше.

— Мне тоже! — Я попробовал засмеяться, но смех не вышел. — Уфф! Как хорошо, что можно наконец отбросить то, ложное!

— Стало быть, все это было заранее обдумано? Настоящий заговор?

— Какой же заговор, нас ведь только двое и есть, — возразил я, благоразумно не упоминая о миссис Прест.

Мисс Тина задумалась; я ждал с тревогой, не назовет ли она наши действия низостью. Но ход ее рассуждений был совсем иным, и минуту спустя она сказала вполголоса, словно бы взвесив все с безмятежной непредвзятостью стороннего наблюдателя:

— До чего же вам, видно, хочется получить эти письма!

— О, страстно, пламенно! — признался я, кажется, даже с улыбкой. И, чтобы не упустить случай, тут же продолжал, начисто позабыв о недавних упреках собственной совести: — Но ведь не могла же она сама переложить их куда-то? Она же не встает на ноги! Ей недоступны никакие мышечные усилия! Она не в состоянии что-либо взять и понести!

— Да, но при большом желании и при такой сильной воле... — сказала мисс Тина, как если бы ей самой уже приходили в голову все эти соображения, и единственное, что она могла предположить, это что глубокой ночью, когда никого не было рядом, старуха все же каким-то чудом обрела в себе силы встать и сделать то, что считала нужным.

— А вы не расспрашивали Олимпию? Может быть, это она помогла мисс Бордеро или сделала все сама по ее приказанию? — спросил я, но моя собеседница поторопилась ответить, что служанка тут решительно ни при чем, не упомянув, впрочем, разговаривала она с нею или нет. Казалось, ей теперь неловко и даже досадно от того, что она невольно обнаружила передо мной, насколько близко к сердцу принимает мои стремления и тревоги, как много места уделяет мне в своих мыслях.

Вдруг она сказала, по обыкновению без непосредственной связи с предыдущим:

— Знаете, мне кажется, будто я и сама стала новая от того, что у вас теперь новое имя.

— Оно вовсе не новое; напротив, это доброе старое имя, и я рад, что вернул его себе. Она искоса посмотрела на меня.

— Оно мне куда больше нравится.

— Слава богу, а то я, пожалуй, предпочел бы сохранить то, чужое.

— Вы это серьезно?

Я только еще раз улыбнулся и вместо прямого ответа заговорил опять о своем:

— Если считать, что она могла сама добраться до бумаг, так ведь она с легкостью могла и сжечь их.

— Запаситесь терпением, запаситесь терпением, — сказала мисс Тина, и ее уныло-назидательный тон не слишком меня утешил, так как свидетельствовал, что она и сама не исключает эту роковую возможность. Однако вслух я сказал, что постараюсь последовать ее совету: во-первых, мне ничего другого не остается, а во-вторых, я помню данное ею обещание помочь мне.

— Так ведь если бумаг уже нет, от моей помощи мало толку, — возразила она, словно желая подчеркнуть, что она не отказывается от данного слова, но факты остаются фактами.

— Вы правы. Но постарайтесь хотя бы узнать, так ли это! — взмолился я, снова задрожав всем телом.

— Вы ведь обещали запастись терпением.

— Как, даже и для этого?

— А для чего же еще?

— Нет, нет, ни для чего, — довольно глупо ответил я, постыдившись открыто высказать то, что на самом деле побудило меня согласиться на ожидание — надежду, что она не только узнает, целы ли письма, но и пойдет ради меня на нечто большее.

Не знаю, поняла ли она или просто спохватилась, что приличия ради ей следовало выказать больше твердости, но только она сказала:

— Разве я обещала обмануть тетушку? Что-то не помню.

— Не столь уж важно, обещали вы или нет, вы все равно на это не способны.

Мне кажется, она едва ли стала бы спорить, даже если б нашему разговору не положило конец появление на канале гондолы, везшей доктора. Я отметил про себя, что раз он так скоро повторил свой визит, значит, не считает, что опасность миновала. Мы посмотрели, как он высаживается на берег, а потом вернулись с балкона в sala и пошли ему навстречу. Само собой разумеется, я еще на пороге расстался с ним и с мисс Тиной,

испросив лишь у последней позволения спустя немного зайти справиться о состоянии больной.

Я вышел из дому и пошел бродить по городу; дошел до самой Пьяццы, но владевшее мною лихорадочное возбуждение не улеглось. Несмотря на поздний час, многие столики еще были заняты, однако я не мог заставить себя сесть и беспокойно кружил по площади. Только мысль о том, что я наконец выложил мисс Тине всю правду о себе, служила мне некоторым утешением. После пяти или шести кругов я повернул к дому и вскоре почти безнадежно запутался в лабиринте венецианских улиц, что со мною случалось постоянно. Было уже далеко за полночь, когда я наконец попал домой. В sala по обыкновению было совсем темно, и фонарик, которым я освещал себе путь, ничего не обнаружил заслуживавшего внимания, к немалой моей досаде, поскольку я предупредил мисс Тину, что приду узнать, как обстоят дела, и вправе был рассчитывать на какой-нибудь условный знак с ее стороны, хотя бы зажженную свечу. Дверь, ведущая в комнаты мисс Бордеро, была затворена; из этого я мог заключить, что моя уставшая за день приятельница не дождалась меня и легла. Я стоял в нерешительности посреди sala, все еще надеясь, что, может быть, она услышала меня и выглянет, уговаривая себя, что не могла она лечь спать, когда тетке так худо; прикорнула, наверно, в кресле у постели, надев домашний капот. Я сделал несколько шагов к двери, остановился, прислушался. Ничего не было слышно. В конце концов я решился и тихонечко постучал. Ответа не последовало; тогда, подождав еще минуту, я повернул ручку двери. В комнате было темно, это должно было бы остановить меня, но не остановило. После всех моих откровенных признаний в зазорных и бесцеремонных поступках, на которые меня сделала способным жажда завладеть письмами Джеффри Асперна, я не вижу никаких причин воздержаться от рассказа об этой последней нескромности. Из всего, совершенного мной, это, вероятно, самое худшее, однако были тут и смягчающие обстоятельства. Меня вполне искренне, хоть, разумеется, не бескорыстно, волновало положение Джулианы, и с целью узнать о нем я как бы назначил мисс Тине свидание, на которое она согласилась; теперь по долгу чести я обязан был на это свидание явиться. Мне могут возразить, что отсутствие огня в sala естественно было истолковать как знак, освобождающий меня от этого обязательства, но вся суть в том, что я вовсе не желал быть освобожденным.

Дверь спальни мисс Бордеро была полуоткрыта, и за нею угадывался слабый свет ночника. Я прошел немного дальше и снова остановился с фонарем в руке. Я был уверен, что мисс Тина там, около тетки, и хотел дать ей время выйти ко мне навстречу. Я не окликал ее, чтобы не нарушить тишину, я ждал, что свет моего фонарика послужит ей сигналом. Но она не шла; в поисках объяснения этому я предположил — совершенно справедливо, как потом оказалось, — что она просто заснула у постели больной. А раз она могла заснуть, стало быть, больной полегчало, и, поняв это, я должен был удалиться так же тихо, как и вошел. Но и на этот раз я не сделал того, что должен был сделать, отвлеченный, словно помимо воли, чем-то совсем иным. Не четкая цель, не заведомо дурной умысел руководили мной в ту минуту, я просто не в силах был тронуться с места, пронизанный острым, хоть и нелепым ощущением: вот он, случай. Я бы даже не смог объяснить, что за случай; мысль о краже не сложилась сколько-нибудь четко в моем сознании. Впрочем, даже поддайся я такому соблазну, передо мной тотчас же встала бы та очевидная истина, что и секретер, и все шкафы, и ящики у мисс Бордеро всегда на запоре. Ни ключей, ни отмычек у меня не было, как, впрочем, не было и намерения заняться взломом. И все же в мозгу у меня неотвязно стучало: вот я стою здесь, словно бы один, под защитным и всеразрешающим покровом ночи, а где-то совсем близко, как никогда прежде, находится предмет моих заветных мечтаний. Я поднял выше свой фонарь и стал перебирать лучом света одну вещь за другой, словно надеясь, что это мне

поможет. Из спальни по-прежнему не доносилось ни звука. Если мисс Тина спала, сон ее был крепок. А вдруг она, добрая душа, нарочно прикинулась спящей, чтобы освободить мне поле действий? Вдруг она знает, что я здесь, и, затаившись в тишине, хочет посмотреть, как я поступлю — как смогу поступить? Решусь ли я, если дойдет до дела? Мои сомнения были понятны ей лучше, чем мне самому.

Я подошел к секретеру и уставился на него растерянно и, вероятно, с очень глупым видом; ибо чего в конце концов я тут мог ожидать? Во-первых, он был заперт на ключ; а во-вторых, в нем почти наверняка не хранилось то, что меня интересовало. Было десять шансов против одного, что бумаги вообще уничтожены, а если даже и нет, так дотошная старуха, заботясь об их безопасности, вряд ли вынула бы их из зеленого сундучка для того, чтобы переложить сюда, вряд ли вздумала бы менять лучшее место на худшее. Секретер слишком бросался в глаза, был слишком на виду, да к тому же в комнате, где она уже не могла сама сторожить свое сокровище. Он отпирался ключом, но пониже замочной скважины была маленькая бронзовая ручка в форме шишечки. Я увидел ее, когда направил туда свет своего фонаря. И тут же у меня мелькнула догадка, от которой мое волнение достигло предела, и я подумал — не этой ли догадки ожидала от меня мисс Тина? Ведь если не так, если она не хотела, чтобы я входил в комнату, чего бы, кажется, проще — запереть дверь изнутри. Разве это не показало бы достаточно ясно ее решимость оградить от меня свое и тетушкино уединение? Но она этого не сделала, стало быть, ждала моего прихода, хоть и понимала отлично, что меня влечет сюда. Такой путь тонких и сверхпроницательных умозаключений привел меня к мысли, что, желая помочь мне, мисс Тина сама отомкнула секретер и оставила его незапертым. Правда, ключ не торчал в замке, но, должно быть, если чуть повернуть бронзовую шишечку — крышка откинется. Томимый своей догадкой, я наклонился, чтобы разглядеть все получше. Я не собирался ничего делать — нет, нет, у меня и в мыслях не было откидывать крышку, — я только хотел проверить свое предположение, посмотреть, можно ли ее откинуть. Я протянул к шишечке руку достаточно ведь было дотронуться, чтобы почувствовать, поддается она или нет; и в последний миг — тяжело мне об этом рассказывать — оглянулся через плечо. То был инстинкт, наитие, ни единый звук не коснулся моего слуха. От того, что я увидел, я сразу же выпрямился и отскочил в сторону, едва не выронив свой светильник. Джулиана в ночной сорочке стояла на пороге спальни, протянув вперед руки, обратив ко мне лицо, свободное от всяких завес, обычно его наполовину скрывавших, и тут, в первый, последний и единственный раз я увидел ее необыкновенные глаза. Они гневно сверкали, они ослепили меня, как внезапный свет газового рожка слепит пойманного на месте преступника, они заставили меня сжаться от стыда. Никогда не забуду я эту белую, согбенную и трясущуюся фигурку с неестественно вздернутой головой, ее позу, выражение ее лица, не забуду и звук ее голоса, когда она, в ответ на мое движение, прошипела с неистовой яростью:

— А-а, гнусный писака!

Не помню, какие слова я забормотал в оправдание, в извинение, помню только, что я шагнул ближе, торопясь уверить ее в отсутствии у меня дурных намерений. Но она отшатнулась в ужасе, замахав на меня старушечьими руками, и в следующее мгновение, с судорожным, словно предсмертным хрипом, повалилась на руки мисс Тины.

IX

Я покинул Венецию на следующее утро, удостоверившись лишь, что хозяйка моя не умерла, как того можно было опасаться, вследствие испытанного из-за меня потрясения — впрочем, я из-за нее испытал, пожалуй, не меньшее. Откуда, скажите на милость, могло мне прийти в голову, что у нее вдруг достанет сил самой встать с постели? С мисс Тиной перед отъездом увидеться не удалось; видел я только служанку и ей оставил записку в несколько строк для передачи младшей мисс Бордеро. В записке говорилось, что я уезжаю на несколько дней. Я побывал в Тревизо, в Бассано, в Кастельфранко, ходил и ездил по разным достопримечательным местам, осматривал дурно освещенную роспись в пропахших плесенью церквах и часами дымил сигарой за столиком какого-нибудь кафе с обилием мух и желтыми занавесками, на теневой стороне сонной маленькой площади. Но весь этот путешественнический ритуал, совершаемый машинально и без души, не развлекал меня. Мне пришлось проглотить очень горькое снадобье, и я не мог отделаться от ощущения оскомины во рту. Я попал, как говорится, в пиковое положение, когда Джулиана застала меня среди ночи изучающим механизм запоров ее бюро; а долгие часы вслед за тем, проведенные в тревоге, не сделался ли я ее убийцей, были ничуть не легче. Воспоминание об унижительной сцене жгло меня, но нужно было как-то выпутываться, как-то объяснить, хотя бы мисс Тине письменно, странную позу, в которой я был застигнут. Но так как мое послание осталось без ответа, я ничего не знал о том, как приняла случившееся сама мисс Тина. У меня все стояло в ушах обидное старухино «Гнусный писака!» — хоть я и не мог бы отрицать, что пишу, и еще менее, что вел себя не слишком деликатно. Была минута, когда я положительно решил, что единственный для меня способ смыть позор — это немедленно убраться вон, пожертвовать всеми своими надеждами и раз навсегда освободить бедных женщин от тягот общения со мной. Однако потом я рассудил, что лучше будет сперва уехать ненадолго, должно быть, у меня уже тогда было чувство (пусть неопределенное и смутное), что, исчезнув совсем, я похороню не только свои личные надежды. Но пожалуй, казалось мне, будет полезно, если я подольше пробуду в отсутствии и старуха уверует в то, что окончательно избавилась от меня. А что именно таково было ее желание — желание, которого я не мог разделить, — сомневаться не приходилось; давешнее полночное бесчинство наверняка излечило ее от готовности терпеть мое общество ради моих денег. С другой стороны, уговаривал я себя, не могу же я вот так бросить мисс Тину; я продолжал твердить себе это даже вопреки тому обстоятельству, что она осталась глуха к моим искренним просьбам дать знать о себе — я не получил весточки ни в одном из тех городков, куда просил ее писать *poste restante*.²⁰ Я бы постарался узнать что-нибудь от своего слуги, да этот олух не умел держать перо в руках. Следовало ли понимать молчание мисс Тины как знак глубочайшего презрения, казалось бы, вовсе ей не свойственного? Неизвестность томила меня; и если по некоторым соображениям я не решался вернуться, то по другим выходило, что вернуться непременно нужно, и я хотел только обрести твердую почву под ногами. Кончилось дело тем, что на двенадцатый день я снова очутился в Венеции, и, когда моя гондола мягко ткнулась носом в ступени старого дворца, тревожно забившееся сердце сказала мне, как тяжела была для меня эта отлучка.

Мое возвращение произошло столь скоропалительно, что я даже не успел предупредить своего слугу телеграммой. Он поэтому не встречал меня на вокзале, но когда я подъехал к дому, высунулся в окно и, увидев, что это я, поспешно сбежал вниз.

— Уже лежит в могиле, *quella vecchia*,²¹ - сообщил он, взваливая на плечо мой

²⁰ До востребования (франц.)

²¹ Та старуха (итал.)

чемодан, и чуть ли не подмигнул мне с веселым видом, словно не сомневаясь, что это известие меня обрадует.

— Умерла? — воскликнул я, совсем не в лад ему.

— Выходит, умерла, раз ее похоронили.

— И давно это случилось? Когда были похороны?

— Позавчера. Да это и похоронами-то не назовешь, синьор; *roba da niente — un piccolo passeggio brutto*,²² и всего две гондолы. *Poveretta!*²³ продолжал он, что по всей вероятности относилось к мисс Тине. По его понятиям, похороны устраивались главным образом для увеселения живых.

Мне хотелось разузнать про мисс Тину — как она, где сейчас находится, но я больше не стал задавать вопросов, пока мы не поднялись наверх. Теперь, когда я оказался перед фактом, мне было неприятно думать об этом; особенно неприятна была мысль, что бедной мисс Тине самой пришлось заниматься всем после того, как все кончилось. Откуда ей было знать о необходимых формальностях, о том, как в таких случаях полагается действовать? Поистине *poveretta!* Вся надежда, что ей помог доктор, да и друзья, о которых она мне рассказывала, не оставили ее без поддержки в трудный час, — горсточка верных старых друзей, чья верность выражалась в том, что они раз в году приходили в гости. Из болтовни моего слуги я понял, что действительно какие-то две старушки и один старичок приняли в мисс Тине большое участие, приехали за ней в собственной гондоле и сопровождали на кладбище — обнесенный кирпичной оградой островок могил, что лежит к северу от города, на пути к Мурано. Значит, барышни Бордеро были католичками. Это мне никогда прежде не приходило в голову, так как тетка не могла ходить в церковь, а племянница, сколько я мог заметить, либо тоже не ходила, либо бывала лишь у ранней обедни в то время, когда я еще спал. И должно быть, даже духовные лица уважали их вкус к уединению, ни разу за то время, что я прожил в доме, не мелькнул передо мной краешек сутаны. Спустя час после своего приезда я послал к мисс Тине слугу с запиской, в которой спрашивал, не найдется ли у нее несколько минут для разговора со мною. Слуга, вернувшись, сообщил, что мисс Тина оказалась не дома, а в саду, прогуливалась себе на свежем воздухе и рвала цветы, точно они принадлежат ей. Там он ее и нашел, и она сказала, что рада будет меня видеть.

Я спустился вниз и провел с бедной мисс Тиной около получаса. У нее и всегда был какой-то замшело-похоронный вид, будто она донашивала старые траурные платья, которых никак не могла износить, а поэтому в ее облике мало что переменялось. Только заметно было, что она плакала, плакала обильно и всласть, бесхитростными, освежающими слезами, давая выход запоздалому чувству одиночества и несправедливости. Ей, однако, и в голову не приходило манерничать, рисоваться своим горем; я даже, признаться, был удивлен, когда она повернулась ко мне, прижимая к груди охапку чудеснейших роз, и в сумеречном свете я увидел в ее покрасневших от слез глазах тень улыбки. Бледное лицо в рамке черных кружев показалось мне еще более длинным и худым. Я был уверен, что она до глубины души возмущена мною, тем более после того, когда меня в тяжелую минуту не оказалось рядом, чтобы помочь ей советом и делом; и хоть я знал, как несвойственно ее натуре злопамятство и

²² Все равно что ничего — жалкая маленькая прогулка (итал.)

²³ Бедняжка! (итал.)

как мало значения она привыкла придавать собственным делам, я все же мог ожидать какой-то перемены в ней, каких-то примет обиды или отчуждения, за которыми слышался бы обращенный к моей совести упрек: «Хороших же вы, сударь, дел наделали!» Но верность истине заставляет меня признать, что унылое лицо бедняжки чуть просветлело, что неказистые его черты словно бы даже стали привлекательнее при виде жильца покойной тетушки. Последний был несказанно тронут этим обстоятельством и счел, что оно упростит положение вещей, в чем ему весьма скоро пришлось разубедиться. Но так или иначе, я в тот вечер был ласков с мисс Тиной, как только мог, и оставался в ее обществе, сколько допускали приличия. Ни в какие объяснения мы не пускались. Я не спрашивал, отчего она оставила мое письмо без ответа и уж тем более не пытался пересказать его содержание. Если ей угодно было делать вид, будто она позабыла, за каким занятием меня застигла мисс Бордеро и какое впечатление это произвело на последнюю, — я мог только радоваться тому; ведь она вполне могла меня встретить как убийцу ее тетушки.

Вдвоем мы бродили по саду, и даже когда разговор не шел об утрате, постигшей мисс Тину, сознание этой утраты нас не покидало — оно было в моем подчеркнутом внимании к собеседнице и в том доверчивом выражении, с которым она смотрела на меня, словно убедившись, что я не потерял интереса к ней, рассчитывала найти во мне опору. Мисс Тина не была создана для гордых потуг на самоутверждение, она даже не пыталась делать вид, будто ясно представляет себе, что теперь станется с нею. Я, однако же, избегал заговаривать об этом, ибо отнюдь не намерен был связывать себя какими-либо обещаниями помощи или защиты. Ничего дурного, полагаю, в моей осторожности не было; просто я понимал, что, при ее полном незнании жизни, мисс Тине легко может показаться естественным, что я — поскольку я, несомненно, жалею ее — возьму на себя заботу об ее судьбе. Она рассказала мне о последних минутах мисс Бордеро, которая, видимо, угасла тихо и без страданий, и о том, как добрые друзья избавили ее, мисс Тину, от всех хлопот, связанных с похоронами, благо деньги в доме нашлись, благодаря мне, о чем она не преминула напомнить с улыбкой. Попутно она повторила еще раз, что уж если кто заслужил расположение «порядочных» итальянцев, то приобрел в них друзей на всю жизнь; а когда мы окончательно исчерпали эту тему, она стала расспрашивать меня о моей поездке, о моих приключениях и впечатлениях, обо всех местах, где я побывал. Я отвечал как мог, кое-что грешным делом и присочиняя, ибо то смутенное состояние, в котором я тогда находился, помешало мне многое увидеть и запомнить. Выслушав мой рассказ, мисс Тина воскликнула, словно на миг позабыв и тетушку, и свое горе: «Господи, вот бы и мне тоже хоть немного попутешествовать, повидать свет!» Мне тут пришло на ум, что я, в сущности, должен бы предложить ей осуществить это желание, выразить свою готовность сопровождать ее куда угодно; но вслух я заметил только, что небольшую поездку, которая бы помогла ей рассеяться, можно, пожалуй, устроить, мы это еще обдумаем и обсудим. Что касается наследия Асперна, то о нем я речи не заводил, не спросил ни разу, удалось ли ей прояснить что-либо еще до кончины мисс Бордеро, и если да, то что именно. Не то чтобы меня не жгло нетерпение это узнать, но мне казалось, что было бы неприлично вновь обнаружить свои корыстные устремления так скоро после случившегося несчастья. Была у меня тайная мысль, что мисс Тина сама что-нибудь скажет — но нет, она не обмолвилась и словом, и в ту минуту я даже нашел это в порядке вещей. Однако же, когда я позднее вспоминал весь наш разговор, мне вдруг показалась подозрительной подобная сдержанность. В самом деле, говорила же она о моих путешествиях, о предметах столь отдаленных, как фрески Джорджоне в соборе в Кастельфранко; так неужто же нельзя было хоть намеком коснуться того, что, как ей хорошо было известно, занимало меня больше всего на свете. Ведь едва ли, потрясенная своим горем, она вовсе позабыла о живейшем интересе, питаемом мною к некоторым реликвиям,

так свято хранившимся покойницей, а стало быть — и я внутренне похолодел от такой догадки, — стало быть, ее молчание может означать, что реликвии эти больше не существуют.

Мы простились в саду, она первая сказала, что ей пора; теперь, когда она была единственной обительницей *rianoobile*, я чувствовал, что уже не могу (по венецианским понятиям, во всяком случае) так свободно, как прежде, вторгаться в его пределы. Пожелав ей спокойной ночи, я спросил, есть ли у нее какие-нибудь планы на будущее, думала ли она, как ей лучше устроить свою жизнь. «Да, да, разумеется, но я еще ничего не решила», — воскликнула она в ответ почти радостно. Не надеждой ли, что я все решу за нее, была вызвана эта радость?

Наутро я оценил преимущества невнимания к вопросам практическим, проявленного нами накануне: оно давало мне повод сразу же искать новой встречи с мисс Тиной. Один такой практический вопрос особенно меня беспокоил. Я считал своим долгом довести до сведения мисс Тины, что, разумеется, не претендую на дальнейшее пребывание в доме в качестве жильца, а заодно и поинтересоваться, как тут обстоят дела у нее самой — чем юридически подкреплены ее права на этот дом. Но ни тому, ни другому не суждено было стать предметом обстоятельного разговора.

Я не послал мисс Тине никакого предупреждения; я просто спустился вниз и стал прогуливаться по *sala* взад и вперед в расчете на то, что она услышит мои шаги и выйдет. Мне не хотелось замыкаться с нею в тесноте гостиной; под открытым небом или на просторе *sala*, казалось, говорится легче. Утро было великолепное, но что-то в воздухе уже предвещало конец долгого венецианского лета — не свежесть ли ветерка с моря, что шевелил цветы на клумбах и весело гулял по дому, теперь уже не столь тщательно закупоренному и затемненному, как при жизни старухи. Близилась осень, завершение золотой поры года. Близился и конец моего предприятия — быть может, он наступит через каких-нибудь полчаса, когда я окончательно узнаю, что все мои мечты обратились в прах. После этого мне останется лишь уложить вещи и ехать на станцию; не могу же я — в свете утра мне это стало особенно ясно оставаться здесь чем-то вроде опекуна при пожилом воплощении женской беспомощности. Если мисс Тина не сумела сберечь письма Аснерна, я свободен от всякого долга перед нею. А если сумела? Кажется, я невольно вздрогнул, задавая себе вопрос — как и чем в таком случае я смогу этот долг оплатить. Не придется ли мне в благодарность за такую услугу взвалить все же на себя бремя опекунства? Я шагал из угла в угол, размышляя обо всем этом, и впасть в полное уныние мне мешало лишь то, что я почти не сомневался в бесплодности моих размышлений. Если старуха не уничтожила свои сокровища еще до того, как застала меня врасплох у секретера, то уж наверно позаботилась сделать это на следующий день.

Понадобилось несколько больше времени, чем я ожидал, чтобы мои расчеты оправдались; но когда мисс Тина показалась наконец на пороге, то не выразила при виде меня ни малейшего удивления. В ответ на мое замечание, что я давно уже ее жду, она спросила, отчего же я не уведомил ее о своем приходе. Я чуть было не сказал, что понадеялся на ее дружеское чутье, но что-то удержало меня; как радовался я этому несколько часов спустя, каким утешительным было для меня сознание, что даже в столь ничтожной мере я не позволил себе сыграть на ее чувствах! Сказал же я вместо этого чистую правду — что был слишком взволнован, ибо готовлюсь услышать от нее свой приговор.

— Приговор? — переспросила мисс Тина, как-то чудно взглянув на меня; и тут только я заметил в ней странную перемену. Да, она была не та, что вчера, не такая естественная, не

такая простая. Вчера она плакала, сегодня следов слез не было видно, зато появилась поразившая меня натянутость в обращении. Как будто что-то произошло с ней ночью или какая-то новая мысль ее смутила, и касалось это ее отношений со мною, запутывало их и усложняло. Забрехала ли перед ней та простая истина, что сейчас, когда она живет без тетки, одна, я уже не могу оставаться в доме на прежнем положении?

— Я говорю о письмах. Есть письма или нет? Теперь это вам должно быть известно.

— Есть, есть, и очень много; больше, чем я предполагала. — От меня не укрылась дрожь в ее голосе, когда она произносила эти слова.

— Так они здесь, у вас — вы мне их сейчас покажете?

— Нет, я, право, не могу их вам показать, — сказала мисс Тина, и в глазах у нее появилось странное молящее выражение, словно пуще всего на свете она теперь желала, чтобы я оставил эти письма ей. Но как могло ей вздуматься, что я способен на подобную жертву после всего, что было? Для чего же я и вернулся в Венецию, как не для того чтобы увидеть эти письма, чтобы их забрать? Известие о том, что они целы, наполнило меня таким ликованием, что, кажется, если бы бедная женщина бросилась мне в ноги, умоляя больше не поминать о них, я бы счел это неуместной шуткой. — Они у меня, но их никто не должен видеть, — жалобно добавила она.

— Даже я? О, мисс Тина! — воскликнул я голосом, полным негодования и упрека.

Она покраснела, и у нее опять набежали на глаза слезы. Видно было, каких мучений стоит ей сохранять твердость, повинувшись грозному чувству неведомого долга. У меня в голове мутилось от этого внезапного препятствия, вставшего там, где его, казалось бы, меньше всего следовало ожидать. Ведь сама мисс Тина давала мне понять достаточно ясно, что в ней я имею верную союзницу, если только...

— Уж не хотите ли вы сказать, что она перед смертью взяла с вас клятву? А я-то был убежден, что вы не допустите ничего подобного. О, лучше бы эти письма были сожжены ею, нежели мне столкнуться с таким вероломством!

— Ах, не в клятве дело, — сказала мисс Тина.

— В чем же тогда?

Она замялась немного, потом ответила:

— Она и хотела их сжечь, да я помешала. Они у нее были спрятаны в постели.

— В постели?

— Да, между матрасами. Она их туда засунула, когда вытащила из сундучка. Как ей это удалось сделать, ума не приложу, только Олимпия не помогала. Так она говорит, и я ей верю. Тетушка уже после сказала ей, для того чтобы она, убирая постель, не трогала матрасов. Перестилала бы только простыни. Оттого постель всегда имела неаккуратный вид, — простодушно добавила мисс Тина.

— Могу себе представить! А каким образом она их пыталась сжечь?

— Да она сама не пыталась; очень уж была слаба последние дни. Но она требовала, чтобы я это сделала. О, это было ужасно! После той ночи говорить она уже не могла. Только показывала на пальцах.

— И как же вы поступили?

— Я их унесла. Унесла и заперла.

— В секретере?

— Да, в секретере, — сказала мисс Тина и снова покраснела.

— Но вы пообещали ей сжечь их?

— Нет, я ничего не обещала. Нарочно.

— Нарочно — ради меня?

— Да, только ради вас.

— Но какой же в том прок, если вы мне даже посмотреть на них не дадите?

— Никакого. Вы правы — да, конечно, вы правы, — печально отозвалась она.

— А она думала, что вы уничтожили их?

— Не знаю, что она думала под конец. Трудно было понять — она уже была не в себе.

— Но если ни клятв, ни обещаний вы не давали, что же тогда связывает вас?

— Она не снесла бы этого — попросту не снесла бы. Она так ревниво их оберегала. Вот вам зато портрет — можете взять его, если хотите. — И бедная женщина вынула из кармана уже знакомую мне миниатюру, завернутую в бумагу точно так же, как завертывала ее мисс Бордеро.

— Как это — взять? Совсем взять себе? — У меня даже дух захватило, когда я ощутил портрет у себя на ладони.

— Разумеется.

— Так ведь он стоит денег, больших денег.

— Ну что ж, — сказала мисс Тина, все с тем же странным выражением лица.

Я ничего не понимал; вряд ли можно было заподозрить ее в желании поторговаться, подобно тетушке. Скорей, она в самом деле решила подарить мне миниатюру.

— Но я не могу принять от вас такой дорогой подарок, — сказал я. — А заплатить столько, сколько думала получить ваша тетушка, мне не по средствам. Она оценила его в тысячу фунтов.

— Так, может быть, продадим его? — заикнулась было моя собеседница.

— Избави бог! Для меня он дороже любых денег.

— Тогда оставьте его себе.

— Вы слишком великодушны.

— Вы тоже.

— Не знаю, что вас заставляет так думать, — сказал я, и это была чистая правда. Судя по всему, бедняжка руководилась какими-то лестными для меня соображениями, проникнуть в которые мне не было дано.

— Благодаря вам для меня многое изменилось, — сказала она.

Я посмотрел в лицо Джеффри Асперна на портрете, отчасти для того чтобы не смотреть в лицо своей собеседнице, — меня все больше смущало и даже немного пугало причудливое, напряженное и неестественное выражение, не сходявшее с этого лица. Я

ничего не ответил на ее последнюю фразу, но украдкой обратился за советом к Джеффри Асперну. Вглядываясь в его дивные глаза, сиявшие блеском молодости и в то же время полные мудрого прозрения, я спросил, не знает ли он, что такое нашло на мисс Тину. И мне показалось, что он улыбается мне добродушно-насмешливо, как будто вся эта история забавляет его. Из-за него я попал в затруднительное положение, но ему-то что до этого! Так, впервые за все эти годы, Джеффри Асперн не оправдал моих ожиданий. И все-таки, держа миниатюру в руке, я понимал, сколь драгоценно такое приобретение.

— Вы хотите подкупить меня, чтобы я отказался от писем? — спросил я наконец, решив стоять на своем. — Но, знаете ли, как я ни ценю этот портрет, если бы мне был предоставлен выбор, я бы все-таки предпочел письма. О, да, без всяких колебаний.

— Какой может быть выбор, какой может быть выбор! — жалобно воскликнула мисс Тина.

— Да, вы правы. Что ж, если запрет покойницы вам кажется столь непреложным, тут ничего не скажешь. Ведь тогда вы должны считать, что, расставшись с этими письмами, совершите кощунственный, поистине святотатственный поступок.

Она покачала головой, словно не видя выхода из одолевающих ее противоречий.

— Если бы вы получше знали тетушку, вы бы меня поняли. Я боюсь, — ее вдруг пробрала дрожь, — я боюсь! Она была страшна, когда гневалась.

— В этом я имел случай убедиться той ночью. Она, и правда, была страшна. И глаза ее я тогда увидел впервые. Боже, какие глаза!

— Я их и теперь вижу — они смотрят на меня в темноте! — сказала мисс Тина.

— У вас просто расшалились нервы после всего, что вам пришлось пережить.

— Да, да, наверно!

— Не тревожьтесь, это пройдет, — заметил я со всей ласковостью, на которую был способен. И безнадежно добавил, ибо мне уже стало ясно, что все мои настояния ни к чему не приведут. — Ну что ж, значит, так тому и быть. Я отступаю. — Тихий горестный стон был мне ответом, я же продолжал: Только, видит бог, мне жаль, что она не уничтожила эти письма раньше, тогда и разговаривать было бы не о чем. Не пойму, кстати, почему она, при ее чувствах, этого не сделала.

— Ах, она только и жила ими! — сказала мисс Тина.

— Тем заманчивей была бы для меня возможность с ними познакомиться, ответил я уже более спокойно. — Но не стоит мне больше задерживаться в вашем обществе, словно бы с тайным умыслом склонить вас к дурному поступку. Само собой разумеется, мои комнаты мне больше не нужны. Я намерен немедля уехать из Венеции. — С этими словами я протянул руку за своей шляпой, лежавшей на одном из кресел. Мы все еще неловко стояли друг против друга среди sala. Дверь гостиной была незатворена, но моя собеседница так и не пригласила меня войти.

У нее как-то странно передернулось лицо, когда она увидела, что я взялся за шляпу.

— Как, вы уже хотите ехать сегодня? — Ее слова прозвучали почти трагически, то был крик отчаяния.

— Нет, зачем же, если я чем-нибудь могу быть вам полезен, я готов отложить свой отъезд на столько, сколько понадобится.

— Хоть бы еще день-другой — еще два-три дня, — выговорила она срывающимся голосом. Но тут же овладела собой и добавила уже более спокойно: — Тетушка мне что-то пыталась сказать перед кончиной, должно быть, что-то очень важное. Но так и не смогла.

— Очень важное?

— Да, что-то насчет писем.

— А вы не догадываетесь, что именно?

— Нет, я думала-думала, но не знаю. Мне всякое приходило на ум.

— Что же, например?

— Ну вот хотя бы, что будь вы не чужим, все было бы по-другому. Я изумился:

— Как это — не чужим?

— Будь вы членом семьи. Тогда не было бы различия между вами и мной. Что мое, было бы и ваше, и вы бы распоряжались всем, как заблагорассудится. Я бы не могла помешать вам, и никто не был бы ни в чем виноват.

Она произнесла свое нелепейшее объяснение с лихорадочной торопливостью, будто заранее выучила наизусть все слова. Но мне почудился скрытый за словами особый утонченный смысл, которого я пока не мог уловить. Лишь спустя несколько мгновений она сама, своим видом помогла тому, что меня осенила догадка, фантастическая в своей невероятности. Растерявшись я перевел глаза вниз, на миниатюру, которую держал в руке. С каким особенным выражением глянул на меня Джеффри Асперн! «Беги-ка, братец, пока не поздно!» Я сунул портрет в карман сюртука и сказал мисс Тине: «Пожалуй, и в самом деле я его продам для вас. Тысячи фунтов не даст никто, однако же постараюсь выручить побольше».

Она посмотрела на меня жалкими, полными слез глазами, но сделала попытку улыбнуться.

— А деньги мы разделим пополам, — сказала она.

— Нет, нет, это будут ваши деньги. — И, переведя дух, я продолжал: — Я, кажется, знаю, что хотела сказать ваша тетушка. Чтобы письма похоронили вместе с нею.

Мисс Тина задумалась над этим предположением; но потом решительно его отвергла.

— О нет, она бы сочла это недостаточно надежным!

— Ну что вы! Уж куда, кажется, надежнее.

— Ей всегда казалось, что в погоне за материалом для публикации люди способны... — Она не договорила и густо покраснела.

— Осквернить могилу! Боже правый, хорошего же она обо мне была мнения!

— Она была несправедлива, она была пристрастна! — неожиданно пылко воскликнула моя собеседница.

Догадка, осенившая меня несколько мгновений назад, кажется, подтверждалась.

— Э, не скажите, мы и в самом деле страшный народ, — возразил я и, помолчав, добавил: — Но, может быть, какой-нибудь намек содержится в ее завещании?

— Никакого завещания не нашлось — она его уничтожила. Она была очень привязана ко мне, — продолжала мисс Тина непоследовательней, чем когда-либо. — Ей хотелось,

чтобы я была счастлива. И тот, кто был бы ко мне добр... вот о чем она хотела сказать.

Я ощутил почти благоговейный ужас перед сутью хитросплетений, руководивших бедной женщиной, хоть эти хитросплетения были, как говорится, шиты белыми нитками.

— Вот уж вы не уверите меня, будто ей пришло в голову сделать какие-либо оговорки в мою пользу.

— Не в вашу, а в мою. Она знала, что мне будет приятно, если вы сможете осуществить свои желания. Не о вас она думала, а обо мне, — говорила мисс Тина с непривычной для нее убедительной страстностью. — Вы могли бы прочитать эти письма — могли бы использовать их по своему усмотрению... Она сделала паузу, почувствовав, что я верно истолковал употребленное ею сослагательное наклонение, — паузу, достаточно долгую, чтобы дожидаться от меня знака, которого она так и не дождалась. Но хотя на моем лице написано было величайшее замешательство, какое только способна отразить человеческая физиономия, лицо это, я уверен, не было каменным, оно выражало и глубокое сострадание тоже, и она не могла этого не заметить. Много лет потом меня утешала мысль, что ни разу в моем поведении не мелькнула даже тень неуважительного отношения к ней. — Я не знаю, что делать; мне так стыдно, так тяжело! — выкрикнула она не помня себя, потом отвернулась в сторону, закрыла лицо руками и разрыдалась. Если она не знала, что делать, то я, как нетрудно догадаться, знал это еще меньше. Я стоял истуканом, слушал, как ее рыдания гулко отдаются в пустоте sala. Так прошла минута; потом она снова подняла ко мне залитое слезами лицо. — Я все бы вам отдала, и она поняла бы меня там, где она теперь, — поняла и простила бы.

— Ах, мисс Тина — ах, мисс Тина! — только и нашелся я пролепетать в ответ. Я все еще не знал, что делать, но тут вдруг безотчетный, панический порыв метнул меня к двери. Помню, что, стоя уже на пороге, я твердил: — Не надо, не надо! — твердил с тупой, идиотской сосредоточенностью, уставясь взглядом в другой конец sala, точно обнаружил там нечто весьма любопытное. Дальше помню только, как я очутился на тротуаре перед домом. Моя гондола покачивалась у свай, и гондольер, отдышавший развалился на подушках, при виде меня поспешно вскочил. Я прыгнул в гондолу и на привычное «Dove comanda?»²⁴ ответил тоном, от которого он остоленел: Куда-нибудь, все равно, куда; в лагуну!

Он работал веслом, а я сидел обессиленный, протяжно вздыхая под надвинутой на глаза шляпой. Что, будь я неладен, могло означать все это, если не предложение мне ее руки? Такова была цена, такова была цена! Но, может быть, она думала, что я сам хочу этого, бедная, ослепленная, не в меру увлекшаяся чудачка? Должно быть, гондольеру с кормы видно было, как горели у меня уши, когда я, неподвижно сторбившись в тени колеблемого ветром навеса, пряча лицо, ничего вокруг не замечая и не слыша, задавал себе все тот же вопрос: а не мои ли легкомысленные действия повинны в ее ослеплении, в ее увлечении? Не дал ли я ей повода думать, что веду с ней любовную игру, пусть даже ради писем Асперна? Нет, нет, нет! Я повторял это себе снова и снова, час, два часа, повторял до изнеможения, но так и не сумел себя убедить. Я не знал, где мы находимся; мой гондольер праздно кружил по лагуне, медленно и редко погружая в воду свое весло. Наконец я разобрал, что мы приближаемся к Лидо, с правой стороны, если смотреть от Венеции, и я велел ему высадить меня на берег. Меня охватила потребность шагать, двигаться, чтобы хоть отчасти стряхнуть

²⁴ Куда прикажете? (итал.)

свое оцепенение. Я пересек узкую полоску земли и, выйдя на морской пляж, направился к Маламокко. Но, пройдя несколько шагов, остановился и бросился ничком на теплый песок, овеянный бризом, утыканный жесткой сухой травой. Невыносимо было думать, что я поступил так непростительно, сознавать себя виновником хотя и невольной, но жестокой шутки. Но ведь не давал я ей повода, право же не давал! Я когда-то сказал миссис Прест о своем намерении поухаживать за племянницей мисс Бордеро, но то были слова, так и оставшиеся словами, и самой жертве я никогда ничего в этом духе не говорил. Я старался быть с ней поласковой потому, что она внушала мне вполне искреннюю симпатию, но можно ли счесть это предосудительным, если дело касается женщины ее лет и ее наружности? Тщетны были бы попытки вспомнить по порядку, где я побывал и что передумал за этот долгий тягостный день, весь, до поздней ночи, проведенный в бесцельных скитаниях вдали от дома; знаю только, что мне то удавалось умиротворить свою совесть, то я сам подстегивал ее, вызывая новые угрызения. Но ни разу за весь день я не засмеялся — это я помню хорошо; быть может, кто-нибудь и нашел бы всю историю забавной, но мне она такой не казалась. Вероятно, для меня было бы лучше, если бы я был способен воспринимать все с комической стороны. Ясно было одно: давал ли я повод, нет ли, я не могу заплатить такую цену. Не могу принять это предложение. Не могу ради связки истрепанных писем жениться на жалкой, нелепой старой провинциалке. Да ей и самой это не казалось вероятным, иначе разве она решилась бы заговорить первая, столь героически выдвинув аргумент реальной выгоды; впрочем, робость была настолько более присуща ей, нежели смелость, что ее рассуждения словно бы заслонили ее чувства.

По мере того как шло время, я все больше досадовал, что мне вообще привелось узнать о существовании писем Асперна, и клял неумную любознательность Джона Камнора, натолкнувшую его на след этих писем. У нас и без них материалу было предостаточно, и трудное положение, в котором я очутился, казалось справедливым возмездием за проявленную нами коварнейшую из человеческих слабостей — неумение вовремя остановиться. Вольно было мне уговаривать себя, что ничего тут нет трудного, что выход прост: первым утренним поездом уехать из Венеции, оставив записку для передачи мисс Тине, как только моя гондола отчалит от крыльца. Однако ж, — не лучшее ли это доказательство моего смятения? — когда я пытался заранее сочинить текст, чтобы дома мне осталось только записать его на бумаге, я не мог ничего придумать, кроме: «Как мне благодарить вас за редкостное доверие, которым вы меня удостоили?» Но такое начало вовсе не годилось, оно непременно тянуло за собой положительный ответ. Можно было, разумеется, уехать вовсе без объяснений, но это вышло бы грубо, а мне все еще хотелось избежать грубости. На смену всем этим мыслям пришло удивление: с чего, собственно, я вообще придал такое значение ветхим бумажонкам Джулианы? Теперь мне было противно о них и думать, и я злился на старую ведьму за суеверное пристрастие, помешавшее ей уничтожить их еще при жизни, и на себя за то, что истратил так много денег в бесплодных домогательствах стать хозяином их судьбы. Не помню, куда и зачем я направился после Лидо, как не помню, в каком часу и в каком состоянии духа я наконец пустился в обратный путь. Знаю только, что на ущербе дня, когда небо уже пламенело закатом, я стоял перед церковью святых Иоанна и Павла и, подняв голову, всматривался в квадратный подбородок Бартоломео Коллеони, грозного кондотьера, что так твердо сжимает бока своего бронзового жеребца на высоком пьедестале, куда вознесло его признание благодарных венецианцев. Это несравненный шедевр, лучшая из конных статуй мира, которая уступает в совершенстве разве что изваянию Марка Аврелия, царственно восседающего на коне перед Римским Капитолием; но не о том я думал в эту минуту, я так смотрел на полководца-триумфатора, точно надеялся из бронзовых уст услышать вещие слова. Закатные лучи, падая на него в этот

час, придают его суровым чертам нечто живое, личное. Но он глядел поверх моей головы вдаль, туда, где еще один алеющий день медленно погружался в воды лагуны — сколько дней за минувшие века канули у него на глазах в прошлое! — и если мысли его были заняты стратагемами и поисками боевых решений, то эти стратагемы и решения сильно отличались от тех, что волновали меня. Сколько бы я на него ни глазел, он не мог мне дать совета. Потом — или это было раньше? — я долго блуждал по малым каналам, к неослабному изумлению моего гондольера, который никогда ранее не видел меня столь беспокойным и не имеющим никакой цели и который все не мог добиться от меня более членораздельных распоряжений, чем: «Куда-нибудь — все равно куда — просто по городу». Он напомнил мне, что я не обедал, и почтительно выразил надежду, что поэтому ужинать я буду раньше обычного. Но у него было достаточно времени подкрепиться в те часы, когда я, выйдя из гондолы, бродил по суше, так что я мог не считаться с ним в этом смысле и объявил, что по некоторым причинам не намерен притрагиваться к пище до завтрашнего утра. Таково было одно из последствий предложения мисс Тины, не сулившее ничего хорошего: у меня начисто пропал аппетит.

Не знаю отчего, но на этот раз я особенно остро чувствовал тот диковинный дух домашности, общности, родственного сплочения, что в значительной мере определяет собой венецианскую атмосферу. Город без уличного движения, стука колес, грубого конского топота, весь в узких, извилистых улочках, где всегдалюдно, где звук голосов отдается, как в коридорах квартиры, и люди ходят, словно боясь наткнуться на мебель, и обувь не снашивается никогда, он похож на огромное общее жилье, в котором площадь Св. Марка играет роль пышно убранной гостиной, а все дворцы и церкви удобных диванов для отдыха, столов с угощением или деталей затейливой отделки. И в то же время этот великолепный общий дом, знакомый, обжитой и наполненный привычными звуками, напоминает театр, где актеры то бойко взбегают на мостики, то беспорядочной процессией тянутся вдоль стен. А ты сидишь в своей гондоле и, как зритель на сцену (угол зрения тот же), смотришь на узкий тротуар, проложенный кой-где по берегу канала, и венецианцы, снующие на фоне декораций из облезлых фасадов, кажутся тебе членами одной многочисленной труппы.

Я лег в постель поздно, донельзя усталый, так и не сумев сочинить послание к мисс Тине. Не оттого ли утром я проснулся с созревшим решением еще раз повидать бедную женщину, как только она согласится меня принять. Возможно, это было одной из причин, но главная заключалась в том, что за ночь в моем настроении произошла внезапная и удивительная перемена. Я это почувствовал, лишь только открыл глаза, и сразу же вскочил с постели с поспешностью человека, вспомнившего, что он оставил распахнутой входную дверь дома или позабыл на полке горящую свечу. Не поздно ли еще спасти свое добро от гибели? Вот вопрос, от которого у меня перехватывало дух; ибо, покуда я спал, непрекращающаяся работа моего мозга вновь разожгла во мне страсть к сокровищам Джулианы. Эта пачка исписанных выцветшими чернилами листов стала для меня драгоценнее, чем когда-либо, и я положительно сатанел от жажды завладеть ими. Препятствие, заключавшееся в условии, которое выставила мисс Тина, уже не казалось мне непреодолимым, и мое распаленное тревогой воображение попросту отказывалось его признать. Нелепо счесть, что тут ничего нельзя придумать, нелепо так легко отказаться от писем Асперна, смирившись с мыслью, что единственная возможность их получить — это связать себя вечными узами с их обладательницей. Можно и не связывать, а письма заполучить. Правда, к тому времени, когда мой слуга пошел справиться, желает ли мисс Тина меня принять, я так и не придумал способа это осуществить, хотя и призвал на помощь всю свою изобретательность. Положение было тягостное, но как из него выйти? Мисс Тина

велела сказать, что ждет меня, и, пока я спускался с лестницы, а потом шел к ее дверям, — на этот раз ей угодно было принять меня в тетушкиной обветшалой гостиной, — я тешил себя мыслью, что она и не надеется услышать утвердительный ответ. Не могла она не сделать верного вывода из моего вчерашнего бегства.

Едва переступив порог, я увидел, что она этот вывод сделала, но увидел и еще кое-что, что для меня явилось неожиданностью. Чувство испытанного поражения подействовало на мисс Тину удивительным образом: занятый своими стратагемами и расчетами, я об этом не думал. Только сейчас я заметил совершившуюся в ней перемену и был ошеломлен. Она стояла посреди комнаты, глядя на меня с неизъяснимой кротостью, и этот всепрощающий, всеразрешающий взгляд придавал ей что-то неземное. Она помолодела, она похорошела, она больше не была ни смешной, ни старой. Это необыкновенное выражение, это чудо душевное преобразило ее, и пока я смотрел на нее, что-то словно зашептало глубоко внутри меня: «А почему бы и нет, в конце концов, почему бы и нет?» Мне вдруг показалось, что я могу заплатить назначенную цену. Тут она заговорила, и звук ее голоса заглушил тот внутренний шепот, но впечатление, произведенное на меня этой новой мисс Тиной, было настолько сильно, что смысл ее слов не сразу дошел до моего сознания; потом я понял, что слова были прощальные — она желала мне на прощанье счастья.

— На прощанье, на прощанье? — повторил я с вопросительной интонацией, что, должно быть, звучало довольно глупо.

Но она явно не почувствовала этой интонации, она услышала только слова; она уже покорно настроилась на разлуку, и эти слова подтвердили ей, что разлука неизбежна.

— Вы сегодня уезжаете? — спросила она. — Впрочем, это не имеет значения, все равно мы с вами больше не увидимся. Я так решила. — И она улыбнулась удивительной, мягкой улыбкой. Нет, у нее не было никаких сомнений относительно того, что вчера я в ужасе бежал от нее. Да и не могло быть ведь я так и не вернулся, чтобы опровергнуть это, хотя бы формально, хотя бы из простого чувства человечности. И теперь у нее еще достало силы духа (мисс Тина и сила духа — прежде это как-то не вязалось одно с другим) улыбаться мне в своем унижении.

— Что вы думаете делать — куда направиться? — спросил я.

— О, не знаю. Самое главное я уже сделала. Я уничтожила письма.

— Уничтожили письма? — ахнул я.

— Да, на что они мне? Я их вчера сожгла в печке, листок за листком.

— Листок за листком, — повторил я деревянным голосом.

— Почти весь вечер ушел на это — их было так много.

Комната вдруг пошла передо мною кругом, и на миг у меня по-настоящему потемнело в глазах. Потом темнота рассеялась, и я увидел мисс Тину на том же месте, но метаморфоза исчезла, передо мной снова была неказистая, мешковато одетая пожилая женщина. Она, эта женщина, сказала мне:

— Больше я не могу с вами оставаться, не могу. — И она, эта женщина, отвернулась от меня, как я ровно сутки назад от нее отвернулся, и побрела к двери своей комнаты. Но уже на пороге она сделала то, чего я не сделал накануне: помедлила и еще раз взглянула на меня. Никогда я не забуду ее взгляда, воспоминание о нем и сейчас причиняет мне боль, хотя злым этот взгляд ничуть не был. Такие чувства, как злость, мстительность или глухая обида, были

чужды бедной мисс Тине; по крайней мере, когда спустя некоторое время я написал ей, что продал портрет Джеффри Асперна, и в качестве платы за этот портрет послал более крупную сумму, чем рассчитывал выручить, она приняла деньги с благодарностью, не сделав даже попытки вернуть их. Я писал, что продал портрет, но своей старой приятельнице миссис Прест, которую я той осенью повстречал в Лондоне, я признался, что он висит над моим письменным столом. Иногда я смотрю на него, и у меня щемит сердце при мысли о том, что я потерял — о письмах Асперна, разумеется.

1888 г.